

ISSN 0132-1366

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

СЛАВЯНСВЕДЕНИЕ
№ _____ г. _____



СЛАВЯНО ·
· ВЕДЕНИЕ



1993



«НАУКА»

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Институт славяноведения и балканистики

Славяноведение

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1965 г.

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

3
1993
МАЙ •
ИЮНЬ •

Содержание

СТАТЬИ

<i>Перович Л.</i> Социалистическая мысль в Сербии во второй половине XIX века	3
<i>Пашаева Н. М.</i> Типология славянской книги эпохи национального возрождения . . .	11
<i>Липатов А. В.</i> Исторический роман: общие закономерности и национальная специфика (русско-польские типологические параллели XVIII — середины XIX века) . .	19
<i>Злыднев В. И.</i> У истоков болгарского театра	34
<i>Толстая С. М.</i> Этнолингвистика в Люблине	47
<i>Шиндин С. Г.</i> О возможном присутствии рефлексов архаического ритуала в русских заговорах	60
<i>Крысько В. Б.</i> Категория одушевленности в древненовгородском диалекте	69

СООБЩЕНИЯ

<i>Хаясака Макото.</i> Русские якобинцы и М. П. Драгоманов — споры о путях решения национального вопроса	80
<i>Кишикин Л. С.</i> Русские в Карловых Варах (Карлсбаде)	86
<i>Клепикова Г. П.</i> К изучению лексики новоболгарских дамаскинов	102

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

<i>Аникин А. Е.</i> Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Т. 7.	109
<i>Молдован А. М.</i> Sermons and Rhetoric of Kievan Rus'	113
<i>Лабыцэв Ю. А. А.</i> Mironowicz. Podlaskie ośrodki i organizacje prawostawne w XVI i XVII wieki	117
<i>Чуркина И. В.</i> Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы XVIII—XIX вв. Типология и взаимодействия	118

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

<i>Стемковская Ю. Е.</i> Типологическое и сопоставительное изучение славянских и балканских языков	121
--	-----

НОВЫЕ КНИГИ

<i>Гришина Р. П.</i> Пленники национальной идеи. Политические портреты лидеров Восточной Европы. Конец XIX — 40-е годы XX в.	124
Книжная полка слависта	125

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

А. И. РОГОВ, (главный редактор), В. К. ВОЛКОВ, Р. П. ГРИШИНА,
А. А. ГУГНИН, В. А. ДЬЯКОВ, М. С. КАШУБА, Г. Ф. МАТВЕЕВ,
С. В. НИКОЛЬСКИЙ, Ю. С. НОВОПАШИН, М. А. РОБИНСОН,
Л. А. СОФРОНОВА (зам. главного редактора), Б. Н. ФЛОРЯ, Т. В. ЦИВЬЯН
(зам. главного редактора), М. А. ВАСИЛЬЕВ (отв. секретарь)

Зав. редакцией *И. И. Бизяева*

Сотрудники редакции: *Авакова Л. А., Веслова И. Ю.,
Кошкина Е. А., Мочалова В. В., Осипова М. А.*

Рукописи представляются в редакцию в двух экземплярах объемом: статьи — не более одного авторского листа (24 стр. машинописного текста через 2 интервала); сообщения — до 16 стр.; рецензии, заметки о научной жизни и т. п. — до 6—7 стр. машинописи. Рукописи, оформленные без учета принятых в журнале требований, к рассмотрению не принимаются; рукописи не рецензируются. В случае отклонения рукописи автору возвращается один экземпляр, другой остается в архиве редакции.



СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В СЕРБИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Исследования социалистической мысли в Сербии, проводимые автором этих строк, возникли не на пустом месте. Многие были сделаны в период до второй мировой войны, а после нее данная проблематика в стратегии югославской исторической науки была фаворизирована. Результаты предшествующих исследований можно в самом общем виде свести к следующим выводам:

1. Социалистическая мысль является одним из направлений в развитии общественной и политической мысли Сербии, которая появилась как отражение социалистических учений, пришедших извне. При этом центры влияния менялись. В отдельные периоды главный источник социалистической мысли в Сербии находила в революционных учениях России XIX в., в другие — в западноевропейских социалистических учениях и рабочем движении, прежде всего I Интернационале.

2. Влияние социалистической мысли в Сербии ограничивалось преимущественно учащейся молодежью.

3. Главным представителем социалистической мысли всегда считался Св. Маркович, однако в весьма обширной и далеко не однозначной историографии он оценивался по-разному.

4. Весь период развития социалистической мысли в Сербии до создания Сербской социал-демократической партии в 1903 г. считался периодом утопического социализма. Это определение проистекает из оценки Ф. Энгельсом всех домарксистских социалистических учений как утопических. В сербское социалистическое движение, а затем и в историографию, понятие «утопический социализм» первыми ввели марксисты, чтобы провести раздельную черту между марксистским и домарксистским периодами.

5. Спад в развитии социалистической мысли и социалистического движения начался уже после смерти Св. Марковича в 1875 г. Радикальная партия, которую в 1881 г. создали его ближайшие соратники, рассматривалась как отказ от его программы. Этот отказ объяснялся двояко. Одни видели в нем свидетельство того, что социальная программа Св. Марковича исторически изжила себя, другие — измену самой программой.

6. Получалось, что почти 30-летний период, от смерти Св. Марковича до создания Сербской социал-демократической партии (1875—1903) являлся некоей лакуной. Причины этого не объяснялись.

Но, как только я от Сербии второй половины XIX в. перешла к

сравнительному анализу, картина оказалась гораздо более сложной. Я начала расширять рамки исследования и постепенно подходила к объяснению появления социалистических мысли и движения в Сербии второй половины XIX в. Решающую роль в этом отношении сыграло изучение русского народничества во всем богатстве его течений. Это исследование в качестве результата дало не только новые доказательства уже известных в историографии связей между русскими и сербскими социалистами, но и помогло проникнуть в сущность явления. Оно показало, что в России формировалась идеология, на основе которой создаются программа и инструментарий, характерные для аграрных и автократических обществ в период их перехода в индустриальные, а в конечном счете, в буржуазные общества. Длительность переходного периода порождает теорию скачков в общественном развитии, приводит к тому, что отсталость в жизни компенсируется радикализмом в идеях и политических действиях. Истоки такого радикализма понятны для неразвитых стран. Выход из страшной отсталости они находят в сокращении сроков развития и по необходимости встают на путь подготовки политической революции.

Огромное место в создании левой идеологии в этих обществах, в определении ее целей и поиске средств для ее осуществления занимает развитие западноевропейского общества. Народнический социализм в России, который стал образцом для всех неразвитых обществ, и есть русский ответ на развитие капитализма в Европе и русская реакция на европейскую социалистическую мысль. Западноевропейские социалистические учения, особенно К. Маркс своей критикой капитала, создали отрицательное отношение к капитализму. Главная мысль, которая владела русской революционной элитой, особенно в период от поражения России в Крымской войне до отмены крепостного права, заключалась в том, как избежать капитализма. Это идеология самобытного, некапиталистического пути развития России. Она опиралась на институт коллективной собственности, сохранившийся в русской общине. Общину приравнивали к идеалу производственной ассоциации, которую пропагандировали западноевропейские социалистические учения. В Европе говорили о социальной революции целью которой является ликвидация классового разделения общества и эксплуатации. Россия, считали народники, не должна повторять путь, пройденный Европой, она должна этот путь сократить. А сократить его можно только через политическую революцию, духовным двигателем которой была революционная организация. Целью политической революции являются завоевание государственной власти и проведение социальной революции с помощью государства. Таковы, если говорить кратко, и те теоретические рамки, в которых осталась социалистическая мысль в Сербии второй половины XIX в.

Подобные социалистические идеи, следовательно, выражали левые силы аграрных обществ. Их целью являлось ускорение хода истории посредством революционного усилия. Но уже в самом начале, при слабости буржуазии, эти идеи становились и фактором долгосрочной стагнации этих обществ.

Вернемся к истокам социалистической мысли в Сербии. В ходе революции 1848 г. на страницах «Србске новине» — единственной тогда газеты в Сербском княжестве — появляются понятия «социалисты», «социализм», «коммунизм» и имена людей, с которыми связывались эти понятия. В интерпретации антиреволюционных сил эти понятия означали порядок, ввергший Европу в «общественное расстройство», в анархию. Таким образом, в Сербское княжество эти понятия пришли, как преследуемые в Западной Европе.

Новый контекст знакомства с социализмом возник в Сербии в связи с подъемом либерализма после 1858 г. Проводниками либеральных идей стали молодые люди, в 50-е годы XIX в. обучавшиеся в Западной Европе. Эти идеи после 1858 г. ими пропагандировались в «Србских новинах», в Обществе

сербской словесности и в Великой школе. Но и сами эти учреждения боролись за преобразования в духе либеральных идей.

В подготовке условий для появления социалистической мысли в Сербии наибольшее значение имела Великая школа в Белграде. Хотя и объективистски, но она давала информацию о социалистических учениях. Кроме лекций о немецкой философии и английском натурализме, в Великой школе читались лекции и о социализме. В программе лекций по философии в 1862 г. встречаются имена западноевропейских социалистов Сен-Симона, Фурье, Прудона, а также русских — Нечаева, Чернышевского, Щапова, Писарева, Ткачева.

Конечно, только этим нельзя объяснить тот уровень развития социалистической мысли, которого она достигла в Сербии в конце 60-х и 70-е годы XIX в. В 1866 г. Сербия имела чуть больше 1 млн 200 тыс. жителей; почти 90% ее населения составляло крестьянство; на тысячу жителей приходилось только 42 грамотных. Эти факты долгое время в историографии рассматривались в качестве тормоза для развития социалистической мысли и подавались как главная причина ее противоречивости. Между тем само содержание социалистической доктрины во второй половине XIX в. показывает, что эти факторы являлись ее исходной точкой. Отсталость, т. е. социальная недифференцированность, аграрного общества, коллективная собственность, сохранявшаяся в задруге и общине, принцип народного самоуправления — все это шло в актив сербским социалистам, их убеждениям, согласно которым следовало искать путь развития отличный от западноевропейского, т. е. путь некапиталистический.

Идеи либерализма, появившиеся в Сербии в конце 50-х годов XIX в., не были запоздалыми для страны. Наоборот, до их реализации предстоял долгий путь. Но сербское общество встретилось с ними в период, когда либерализм в Европе уже испытывал критику со стороны социалистических теорий. Это сделало неизбежным раскол в сербском либеральном движении. Конечно, исторически сербское общество находилось только в преддверии общества буржуазного. Но его спутником были уже и социалистические идеи. Их носителем являлась радикальная интеллигенция, которая в то же время представляла собой первое образованное поколение, вышедшее непосредственно из народа. Она поставила своей целью уничтожение буржуазной цивилизации, ее ключевых ценностей: частной собственности и индивидуализма. Проект новой цивилизации покоился на коллективизме и всеохватном равенстве: экономическом, политическом и духовном. Что касается перспективы революции и нового социального устройства, о чем говорили западноевропейские социалисты, то радикальной интеллигенции казалось, что повторение пути, который в своем развитии прошла Западная Европа, обречло бы Серию на еще большую отсталость. Поэтому среди сербской интеллигенции, как и в России, появляются радикальные идеи о возможности перескакивания отдельных фаз развития.

Главным представителем социалистической мысли в Сербии второй половины XIX в. был Св. Маркович. Вдохновленный либеральными идеями в Великой школе, он после ее окончания в 1866 г. уезжает продолжать учебу в России.

Время, когда Маркович прибыл в Россию, в известном смысле было переломным в истории русской социалистической мысли. Реформы, проведенные в начале 60-х годов XIX в., носили половинчатый характер. Движение, требовавшее полного освобождения крестьян и рассчитывавшее на крестьянскую революцию, оказалось под ударами репрессий. Его идеолог, Н. Г. Чернышевский, арестованный в 1862 г., весной 1864 г. был осужден на семь лет каторги и пожизненную ссылку. Тайное революционное общество «Земля и воля» перестало существовать весной 1864 г. Перед русской революционной молодежью встал вопрос: что делать? Писарев ответил на

него первоначально нашел в реализме, т. е. в позитивных знаниях и просвещении масс как условиях преобразований в «темном царстве». Позднее, анализируя свою просветительскую концепцию, он пришел к революционным взглядам и начал критику либерализма. Уже с 1861 г. резко радикализуется русская студенческая молодежь. Ее борьба за автономию университетов, на которую власти ответили репрессиями, привела, как предвидел Нечаев, к тому, что русская молодежь вопрос об автономии превратила в общегосударственный политический вопрос.

Изгнанные из университетов, российские студенты пошли в тайные кружки, которые стали началом создания нелегальной общерусской революционной организации. В одном из таких кружков — Сморгонской академии, — в котором возникла идея убийства царя, состоял Маркович. Его имя встречается и в записках русского революционера Ковальского, первого, оказавшего вооруженное сопротивление полиции во время своего ареста. В этих обществах сформировалось яacobинско-бланкистское течение в русском революционном движении, которое формулирует теорию узкой тайной революционной организации, призванной совершить политическую революцию. Его самыми видными творцами являлись Ткачев и Нечаев.

В противоположность этому формируется другое направление, которое в «Исторических письмах» Лаврова (1868—1869) и «Положении рабочего класса России» Флеровского (1869) находит ответ на тогдашнее положение России в сознательных действиях «критически мыслящих личностей», способных руководить массами.

Таким образом были заложены основы народничества, доктрины, резко враждебно относящейся к буржуазному обществу, капитализму и либерализму, которая в течение 70-х годов XIX в. овладевает умами революционной молодежи.

Св. Маркович отходит от яacobинско-бланкистского течения и присоединяется ко второму направлению. Этим объясняется его отъезд в Цюрих. Его связи с I Интернационалом в историографии объясняются однозначно. На основании указанного фактора он даже был провозглашен марксистом. Но его связи с I Интернационалом шли главным образом через русскую секцию Интернационала, которую Маркс создал как важное орудие в борьбе с бакунизмом. Сам же Маркович остался верен идее Чернышевского о возможности миновать капитализм, которую считал главной и для сербского социализма. Как социалистический мыслитель, Маркович остался во власти национальной патриархальности — общины и задруги как прототипа политической и экономической организации будущего общества.

Критика автократической Сербии Марковичем способствовала созданию либеральной политической программы. Но он, как и Чернышевский, был твердо убежден в том, что эта программа без экономического равенства — чистая утопия. Сама по себе эта критика, между тем, играла важную роль. Целый ряд социалистических газет и журналов за время трехлетней деятельности Марковича в Сербии по возвращении из Цюриха («Раденик», «Јавност», «Глас Јавности», «Ослобођење», «Рад»), переводы трудов западноевропейских и русских социалистов явились важными зародышами критической мысли и оппозиционной деятельности.

В центре критики Марковича находилась в первую очередь национальная программа Сербии. Эта критика вызвала кризис сербского национализма конца 60-х — начала 70-х годов XIX в. и положила начало новой исторической тенденции в поисках ответа на сербский вопрос: Маркович своей критикой национальной политики либерально-легитимистского решения сербского вопроса создал концепцию революционного его решения.

Сербский народ, создав в начале XIX в. революционным путем национальное государство, поставил в повестку дня вопрос о завершении своего освобождения и объединения. Программу буржуазного класса, который

утверждался в Сербии, разработал И. Гарашанин в так называемом «Начертании» (1844). Средневековое Сербское государство в качестве основы, увеличение и расширение территории Сербии в случае распада Турецкой империи, равно как и обращение к историческим правам Сербии, которые остальные южные славяне должны понять, так как сербы первыми начали бороться за освобождение и имеют право завершить свою борьбу, наследственное княжество, без чего Сербия бы распалась, право Сербии говорить от имени южных славян — таковы главные положения программы Гарашанина.

Св. Маркович, как социалист, не отделял национальную революцию от радикального преобразования общества. Что в этой перспективе для него означала политика «Великой Сербии», какими он видел ее внутри- и внешнеполитические последствия? На эти вопросы он ответил в программной статье «Великая Сербия» (1868), которой еще из Петербурга открыто заявил о своем расхождении с либералами.

«Политика „Великой Сербии“, — писал он, — по форме объединяет умственные и материальные силы сербского народа, а в действительности все эти силы были бы ограничены и скованы. Народ вышел бы из борьбы за „Великую Сербию“ более бедным и разоренным, чем теперь, и остался бы снова во власти тех же врагов, что и теперь... „Великая Сербия“ должна была бы все больше и больше тратить на военные цели, все больше вводить централизацию со всеми „благами“, которые она приносит, все больше отягощать народ различными налогами (само собою, был бы и государственный долг), и рано или поздно такая политика должна будет завершиться какой-нибудь внешней или внутренней катастрофой. Сербский народ вне княжества приобрел бы очень мало, а народу в княжестве, в „Великой Сербии“, было бы много хуже, чем ему теперь в маленькой Сербии» [1].

Имея в виду географическое и этническое положения сербского народа, его вековую разобщенность и смешанность с другими народами, Маркович мыслил «сербское единство» как духовное, культурное, как приверженность всего сербского народа к общечеловеческому принципу — политически свободному и экономически справедливому обществу, а не государственному единству. Конечно, его подход к сербскому вопросу не был лишен противоречий. Маркович, например, пришел к мысли, что объединение должно получить определенный облик, найти выражение в политической, т. е. государственной форме. Но в целом решение сербского вопроса он видел не в национальном государстве. Такое государство, даже как теоретическое построение, для него никогда не могло быть централистским государством. Идее национального государства Маркович противопоставлял принцип федерации, «который приведет сербский народ в Югославянский Союз, но никоим образом не в унитарное сербское государство» [2]. Но идея федерации не была проведена им последовательно: она мыслилась где-то между федерацией, основанной на национальном принципе, и федерацией, существующей в качестве антипода государству, в котором нации исчезают.

Во всяком случае концепция, согласно которой сербский вопрос разрешим только в союзе с другими балканскими и югославянскими народами и неотделим от решения общественного вопроса, осталась общим местом сербской социалистической левизны. Утвердившись в период народнического социализма, она была унаследована сербской социал-демократией и затем коммунистами.

Период после смерти Св. Марковича с точки зрения истории социалистической мысли менее всего исследован. Точнее, он сведен к одной, социально-революционной, тенденции в движении, основоположником которого являлся Маркович, проявившейся еще при его жизни. Другая тенденция, гораздо более сильная по своему влиянию на общественную историю Сербии в последней четверти XIX в., осталась вне поля зрения историографии социалистической мысли и социалистического направления.

Для понимания двух упомянутых выше тенденций ключевыми являются годы от смерти Св. Марковича до их проявления и организационного оформления (1881). Первая выразилась в создании Народной радикальной

партии, которая являла собой широкое народное движение. Вторую — социально-революционную — представляла небольшая группа сторонников Св. Марковича, самой яркой личностью в которой был Д. Ценич. Эти два течения столкнулись по вопросу о наследии Св. Марковича, причем каждое из них доказывало, что именно оно является истинным продолжением его дела. Оба они отражали великий раскол в русском народничестве на течение прогрессивное, опиравшееся на народ, и течение якобинско-бланкистское, считавшее, что на основе знаний и хорошо понятых интересов народа оно имеет мандат истории действовать во имя народа.

По сути дела указанные два сербские социалистические течения не различались в отношении цели. Различия между ними касались средств, характера организации социалистов. В политическом, экономическом и национальном вопросах они остались в рамках идей народнического социализма, которые сформулировал Маркович. Общими для них остались: программа политических свобод; некапиталистический путь индустриализации, который все больше переносил центр тяжести с патриархальных экономических институтов, каковыми были задруга и община, на народное государство; решение сербского вопроса в форме федерации балканских народов.

Сербские социалисты второй половины XIX в. достаточно точно определяли социально-экономическую действительность Сербии 70—80-х годов: крестьянин был лично свободен, но сидел на маленьком наделе; ростовщический характер капитала, который приводил к быстрой пролетаризации села; неразвитые города без промышленности, которая могла бы поглотить сельский пролетариат. Социалисты не хотели ни буржуазии, ни бюрократии, а хотели народное государство как владельца средств производства, но особенно как регулятор справедливого распределения. На деле это была отсрочка платы неизбежной цены модернизации, но давал себя знать и страх патриархального общества перед ее последствиями.

Один из основателей Народной радикальной партии и ее многолетний вождь, Н. Пашич, писал непосредственно перед ее созданием: «Западная Европа и Восточная Европа — это два особых мира, они никогда не объединялись и еще труднее могут объединиться теперь, когда кроме веры пришел и национальный вопрос и когда наряду с этими двумя появляется еще и третий, что в наше время также имеет судьбоносное значение для народа и государства, а именно — моральные взгляды на экономическое и политическое устройство народа». «Сербский народ, — продолжал Пашич, — с момента появления на этих землях, где он теперь живет, всегда в столкновениях восточного мира с западным оказывался на стороне Востока». Пашич считал капитализм несправедливым обществом и восточную цивилизацию ставил выше западноевропейской: «Община... это душа славянского мира. Она начало, и она теперь в общественной науке рассматривается как последняя ступень организации западного европейского общества. Она, следовательно, и начало славянского общества, и завершение европейского общественного развития» [3].

Проникновение капитала в 80-е годы XIX в. вызвало острую реакцию сербских социалистов. Они были принципиальными противниками разделения народа на классы, но боялись и того, что капитал проникнет извне, из Австрии. Поэтому они били тревогу и доказывали, что народное государство как владелец средств производства — единственная преграда этому.

Убеждение, что в опоре на патриархальные объединения не только возможно, но и необходимо избежать капитализма, в 80-е годы прошлого столетия, когда под воздействием товарно-денежных отношений эти объединения распадаются, получает новую аргументацию. Необходимость социализма доказывалась и национальным доводом: капитал бьет по патриархальной основе общества, представляющей собой суть сербства; кроме

того — это иностранный капитал, ставя Сербию в экономическую зависимость, он угрожает и ее политической независимости. «Нас иностранцы, — писал Д. Ценич, — уничтожат экономически и политически, и на наше место придет другой народ, экономически более развитый, чем наш. Экономическая борьба Сербии против иностранного проникновения должна стать борьбой против мещанского порядка, против торгашества; а поскольку это торгашество приходит к нам со стороны, от других наций, постольку национальная борьба сербского народа против иностранщины тождественна основным требованиям социализма. Те сербские государственные деятели и патриоты, которые захотят остановить иностранное нашествие и возвысить сербскую нацию, должны в экономике держаться социалистических принципов. Ситуация изменилась: раньше социализм должен был со свечой искать сторонников, теперь, ради собственного спасения, должна искать его вся нация» [4]. Другой сербский социалист, Д. Станоевич, сформулировал тогда лозунг «Сербизм равен социализму».

Восстание в Боснии и Герцеговине 1875 г. и начало Восточного кризиса 1876—1878 гг. остро поставили национальный вопрос. Сербские социалисты не разделяли доктринерства русских революционеров, которые свое отношение к восстанию в Боснии и Герцеговине определяли в зависимости от того, является ли оно только национально-освободительной борьбой или также и социальной революцией. Они доказывали неразрывную связь обоих движений. Во взглядах на решение сербского вопроса социалисты последовательно разделяли идеи Св. Марковича. Газета социалистов «Старое освобождение» в 1876 г. писала:

«Будущее Сербское государство не может и не должно быть основанным на принципе народности. Государство, основанное на принципе народности, предполагает определенные границы данной народности. А сербский народ не имеет ни географических, ни этнографических границ. Он смешан на северо-востоке с болгарами и румынами, на северо-западе — с румынами, немцами, венграми, хорватами, на юго-западе — с хорватами и итальянцами, на юго-востоке — албанцами и болгарами. Балканский полуостров с прилегающими к нему областями представляет мозаику из малых народов. Сербский народ находится в центре этой мозаики. Он смешивается со всеми своими соседями; часто он проникает компактной массой до самого центра того или иного соседнего народа, часто соседние народы достигают центра сербства. Если бы будущее Сербское государство было основано на принципе народности, тогда оно неизбежно из сербского народа должно сделать завоевателей. В силу этого Сербское государство должно будет превратиться в военное государство. Такое государство давило бы и сам сербский народ, тормозило бы его культурное развитие, враждовало бы с соседними народами и в конце концов было бы ими расчленено и уничтожено, как тормоз прогресса и свободы балканских народов. Никогда не следует забывать, что прогресс идет вперед, что свобода становится общечеловеческой потребностью любого народа. Поэтому, следовательно, только те государства могут рассчитывать на длительное существование, правильное развитие и усовершенствование, которые основываются на передовых принципах. В той мере, в какой новое Сербское государство будет основано на передовых принципах, его существование соответственно будет более прочным, а будущее более светлым. Сербское государство, основанное на принципе народности, разобьет быстро развивающийся прогресс своей тяжелой поступью».

Новое Сербское государство не может быть основано и на историческом праве. Только фантасты и пустые мечтатели могут мечтать о границах Душанова царства и ссылаться на историческое право. Молодому, крепкому сербскому народу не потребно воскрешать мертвецов. Жизнь не произрастает из могил. Нам не нужна апелляция к мертворожденному историческому праву. Сербский народ должен опираться и апеллировать к более человеческим правам, праву каждого народа на жизнь, на развитие и всесторонний прогресс».

Сербские социалисты видели в объединении средство, а не цель. «Народу необходимы, — писало „Старое освобождение“, — материальное благосостояние, полная политическая свобода, всесторонний и моральный прогресс. Этого опять-таки можно достичь, если будущее Сербское государство организуется *изнутри* на принципе *полного общинного самоуправления* с народным суверенитетом, а *вовне* — на принципе федерации с группами соседних народов» [5].

Между радикалами и социал-революционерами не было различий во взглядах на политические, экономические и национальные вопросы. И те и другие в качестве конечной цели имели народное государство, которое

идентифицировалось с обществом. Они различались только, как было сказано, в вопросе о средствах, т. е. характере партии, которая должна реализовать данную цель. Социальные революционеры являлись сторонниками узкой социалистической организации и революции. Они были последователями революционной террористической организации России — «Народной воли», с которой поддерживали тесные связи, а их орган «Радник», начавший издаваться в 1881 г. в Белграде, являлся практически единственной легальной общественной газетой этой организации.

В Радикальной партии, представлявшей собой широкое крестьянское движение, с узким ядром фактически профессиональных революционеров, бывших русских и цюрихских воспитанников, социал-революционеры видели измену революции, да и самому социализму. Но Радикальная партия в самом начале не являлась буржуазной партией. Ее программа выросла из идеологии народнического социализма Св. Марковича. Она отмежевалась от якобинско-бланкистского варианта народничества, т. е. от завоевания власти партией узкоревolutionной ориентации, которая с помощью государства, во имя народа мешает расколу общества на классы и обеспечивает справедливое распределение. Радикальная партия стремилась к мирной социальной революции, завоеванию власти через выборы, установлению народного государства. Ее настоящая общественная природа может быть оценена только по отношению к двум другим партиям в Сербии: Либеральной и особенно Напредняцкой (Прогрессивистской), последняя из которых стремилась к построению современного государства и буржуазного общества. Напредняцкой партией руководили люди с ясным представлением о современном европейском государстве, но партия не имела социальной опоры, и потому все более ориентировалась на двор, заложником которого она практически становится.

Радикальная партия опиралась на широкую крестьянскую базу. Она была противником всех мер модернизации Сербии: законов о железных дорогах, банках, регулярной армии. Все это являлось стихийным отпором формированию буржуазного общества, который свои истоки имел в идеологии народнического социализма.

Пока абсолютистская и феодальная Россия колебалась в проведении реформ, на ее политической арене появились силы, которые выработали прежде всего идеологию, а затем и организацию под влиянием западноевропейских социалистических идей, но до неузнаваемости преобразованных тенденциями развития и действительностью России. Народнический социализм не являлся утопией — он был вполне реальным явлением в патриархальном обществе во время его перехода в современное. Эта идеология в момент своего возникновения имела огромное влияние в балканских землях. Уже в силу того, что сербский народ был единственным, имевшим национальное государство, в Сербии она получила наибольшее развитие, вплоть до создания некоей целостной системы, которая имела неизмеримо большее влияние на общественную историю Сербии, чем можно было себе представить или чем это признается.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Marković S. Velika Srbija//Marković S. Sabrani Spisi. Beograd, 1965. T. I. S. 111.*
2. *Marković S. Socializam ili društveno pitanje//Marković S. Sabrani Spisi. Beograd, 1965. T. IV.*
3. *Pašić N. Sloga Srba i Hrvata//Arhiv Srbske Akademije Nauka i Umjetnosti. Sign. 11857.*
4. *Cenić D. Hoće li imati udela i mlađi brat?//Novi beogradski dnevnik. 1887. Br. 89.*
5. *Nase oslobođenje i ujedinjenje//Staro oslobođenje. 1876. Br. 74.*



ПАШАЕВА Н. М.

ТИПОЛОГИЯ СЛАВЯНСКОЙ КНИГИ ЭПОХИ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Книга эпохи национального возрождения — своеобразный феномен в истории славянских народов. Книга — один из самых демократических памятников материальной культуры того времени, показатель уровня культурного развития и в то же время — один из мощных рычагов этого развития.

Данные наблюдения — результат исследований, проведенных в библиотеках Москвы — Государственной публичной исторической библиотеке (ГПИБ), Научной библиотеке МГУ им. А. М. Горького (б-ка МГУ), Российской Государственной библиотеке (РГБ). Исследования фондов этих библиотек позволили с определенностью сказать, что мы обладаем значительным материалом, позволяющим составить представление о книге и книжной культуре эпохи. Славянская патриотическая книга рано нашла дорогу к русскому читателю. Книги деятелей славянской культуры мы находим в коллекции Н. П. Румянцева (РГБ) и в значительной части библиотеки П. И. Кеппена, хранящейся в ГПИБ [1]. В библиотеке МГУ сохранилась уникальная библиотека О. М. Бодянского, собранная им во время путешествия по славянским землям и составленная для обучения студентов. А в ГПИБ имеется комплект книг из погибшей личной библиотеки Бодянского, приобретенных после его смерти П. В. Щаповым [2]. В собрании А. Д. Черткова (ГПИБ) книги деятелей славянской культуры также занимают значительное место. В РГБ сохранилось значительное число таких книг из библиотеки Н. А. Попова и, наконец, интересующие нас издания разнообразно представлены в библиотеке крупного русского слависта А. А. Котляревского, ныне входящей в состав фондов ГПИБ.

Наблюдения над сохранившимися экземплярами, а также изучение библиографий, позволяют говорить о книге национального возрождения как о культурном феномене, имеющем общие типологические черты, несмотря на различие обстоятельств, сопутствующих изданиям книги. Говоря об оформлении книг, следует помнить, что деятели славянского возрождения, за редкими исключениями, не имели собственных типографий, не располагали значительными средствами, и это безусловно отразилось на облике изданий. Они были типичны для своей эпохи, несли на себе печать распространенного тогда полиграфического оформления. Ряд признаков роднит издания, выходявшие в Праге и Будиме, Любляне и Вене, Белграде и

Пашаева Нина Магомедхановна — канд. ист. наук, сотрудник Государственной публичной исторической библиотеки России.

Москве. Как правило, это издания скромные, рассчитанные на небогатого читателя. Бумага невысокого качества, много книг без иллюстраций, а если они есть, то чаще всего это лишь гравюра-фронтиспис, иногда присутствующая не во всех экземплярах тиража. И в то же время издания выполнены весьма бережно, с любовью, а многие из них просто шедевры.

Книги деятелей славянской культуры имеют точный читательский адрес — рассчитаны на национального читателя, причем прослеживаются два адресата — образованный читатель, ученый, хорошо знакомый с насущными проблемами родного народа, и широкий читатель, для которого небольшая книжка на родном языке — желанное чтение, познавательное и одновременно развлекательное. И в том и в другом случае книга обычно удобного небольшого формата. Язык — чаще всего родной, но ряд изданий выпускается для ученых на латыни, а для широкого читателя порой на официальном господствующем языке, чаще всего на немецком, а в Галичине также на польском.

Несколько тематических направлений можно проследить в репертуаре славянских книг. Это проблемы родного языка и истории, публикации древних памятников, альманахи и календари, оригинальная и переводная художественная литература, а также многочисленные переработки и подражания; памятники фольклора, политическая брошюра, реже — трактат, учебники в тех странах, где образование не находилось в руках угнетающей нации, и, наконец, небольшое количество религиозной литературы. По книгам хорошо прослеживаются межславянские и особенно славяно-русские связи.

Периоды рассматриваемой эпохи (первый — вторая половина XVIII в., второй — первая половина XIX в., третий — 50—70-е годы XIX в.) вполне очевидны и по книгам деятелей славянской культуры [3]. Это хорошо видно на примере чешских изданий — Чехия была, как известно, одной из развитых частей Австрийской империи. Книжное дело обладало высоким уровнем развития и имело давние исторические традиции [4]. Ряд факторов способствовал тому, что в течение нескольких десятилетий на чешских будителях ориентировались издатели других славянских народов, а Прага была в значительной мере притягательным культурным центром.

Для первого периода типичны ученые труды, рассчитанные на узкий круг специалистов, и одновременно популярные книги — первые попытки завоевать широкого демократического читателя. Процесс национального возрождения проходит не во всех землях, лишь в Чехии, Словакии, Словении, Воеводине, Закарпатье, где выходят первые книги просветителей, а также в Болгарии, хотя труд первого болгарского деятеля национального возрождения Паисия Хилендарского увидел свет много позднее и первоначально распространялся лишь в рукописном виде. Труды Ю. Скленера, Ю. Папанека (Словакия), И. Базиловича (Закарпатье) и другие, написанные на латыни, адресованы специалистам, но уже «Изображения чешских и моравских художников» — этот составленный А. Фойгтом, Ф. Пельцлем и И. Борном биографический словарь с портретами, изданный в Праге в 1773—1782 гг. на немецком языке, — ориентируется не только на ученых. Не случайно первые два тома вышли также в латинской редакции, но в дальнейшем авторы продолжали выпускать свой труд только по-немецки.

Издание трудов по отечественной истории, рассчитанных на национального читателя, диктовало и форму этих изданий. Так, для титульного листа «Новой чешской хроники» Ф. Пельцля, вышедшей тремя изданиями по-немецки и затем по-чешски, непосредственно из чешского герба было позаимствовано изображение льва [5]. В «Истории» Йована Раича помещен фронтиспис с портретом автора, а затем гравюра, изображающая монумент, упирающийся в обелок, с надписью «Роду и обществу» [6]. Уже в первый период наблюдается интенсивная популяризаторская работа, о чем свиде-

тельствует деятельность М. В. Крамериуса. Блестящим популяризатором был и Досифей Обрадович; недаром оба они знакомят своих читателей с баснями Эзопа — на титульном листе издания Крамериуса дается даже изображение горбуна-баснописца [7]. Порой ученый и писатель-популяризатор выступают в одном лице. Например, словенский просветитель А. Т. Линхарт в 1788—1791 гг. выпускает два тома своего труда по отечественной истории — «Опыт истории Крайны и других южнославянских земель Австрии», считая его важнейшим делом своей жизни. Одновременно в 1790 г. издается мадьянской брошюрой его «Веселый день или Матичек женится» — переработка «Женитьбы Фигаро» для словенской сцены.

Во множестве печатаются книги по языкознанию — различные грамматики, «защиты» чешского языка и пр. Особое место среди этих изданий принадлежит фундаментальным трудам «отца славистики» Й. Добровского. Нормы языка, правописания, даже шрифта в книгах первого периода национального возрождения не выработаны, разноплановы, часто произвольны. Книги на искусственном, «ученом» языке соседствуют с первыми попытками писать на народном языке или близко к нему.

Начало второго периода распространения книги можно отнести к началу XIX в., а расцвет к 20—40-м годам. В процесс включаются Хорватия, Сербия, Черногория, Галичина, лужицкие сербы — практически национальное возрождение охватывает в этот период все славянские народы, находящиеся под национальным гнетом. (Кроме Польши, где исторический процесс имеет свою специфику.) Продолжают выходить книги по родной истории, но на первых порах это лишь небольшие книжки, предназначенные для широкого круга читателей, (например, «Новый Плутарх» Е. Ивановича, первый том которого вышел в 1809 г., а второй в 1834 г.— собрание самых различных занимательных биографий) Во второй половине периода появляются солидные труды историков, филологов, этнографов — Й. Юнгмана, Ф. Палацкого, Д. И. Зубрицкого и других, вошедшие в золотой фонд национальной культуры. Работы П. Й. Шафарика получили мировое признание. Одновременно продолжается издание популярных книг. Такова, например, небольшая работа С. Милутиновича «История Черногории», выпущенная в 1835 г. в Белграде с романтическими фронтисписом, изображающим могилу Данилы Негоша в окружении горного пейзажа [8]. Иногда серьезный труд превращается в этот период в популярную книжку. Так «История» Паисия Хилендарского впервые увидела свет лишь в 1844 г. в переработке Х. Павловича, сократившего ее до объема в 80 страниц и выпустившего книгу без указания автора. Широко представлены публикации исторических источников, памятников национальной культуры прошлого, порой впервые увидевших свет. Примером такой публикации может служить биография одного из руководителей общины чешских братьев XVI в. Яна Аугусты. Она была написана в XVI в. знаменитым Я. Благодиславом, а впервые напечатана лишь в 1837 г. [9]. В предисловии к книге, рассчитанной на малопросвещенного читателя, помещены краткие сведения об общине чешских братьев. К концу периода появляются уже научные собрания древних документов, например «Архив Чешский», издававшийся Ф. Палацким.

В Сербии, Болгарии в этот период большое место занимают учебники истории, оригинальные и переводные. Много исторических материалов публиковалось и на страницах продолжающихся изданий, выпускавшихся славянскими Матицами — своеобразными культурно-просветительскими центрами. Матица Сербская была основана в 1826 г., за ней последовала Чешская (1831) и др. Тип этих изданий матиц — обычно весьма строгие тома, лишенные каких-либо украшений и иллюстраций. Позднее матицы выпускали также популярные издания для народа, но и они, как правило, тоже были очень скромными.

Огромное внимание уделяли деятели славянской культуры публикациям отечественного фольклора, прежде всего народных песен. Одной из первых книг стало небольшое собрание сербских народных песен, изданное В. Караджичем в 1814—1815 гг. и ставшее вскоре достоянием европейской культуры. Вслед за Караджичем издает трехтомное собрание славянских песен Ф. Л. Челаковский (1822—1827), дважды публикует словацкие песни Я. Коллар. Во втором собрании Коллара опубликованы две гравюры, изображающие мужчину и женщину в словацких национальных костюмах [10]. Отдельно выходят ноты [11; 12]. Сборники песен, как и другие издания славянских книг, как правило, оформлялись весьма скромно. Но было исключение: в 1841—1843 гг. увидело свет двухтомное издание сербо-лужицких народных песен — более 500 текстов, часть которых сопровождается нотами. Помимо этого в издании содержатся сведения по языку и грамматике Верхних и Нижних Лужиц, сказки, пословицы, легенды, географическо-статистическое описание края, а также великолепно выполненные цветные таблицы с изображением национальной одежды сербо-лужичан различных районов, плана сел, крестьянского двора, музыкальных инструментов и т. д. Все тексты параллельно приведены по-немецки [13]. Издание это стало как бы энциклопедией, своеобразным национальным манифестом малого славянского народа. По мнению А. Ф. Гильфердинга, это великолепное издание было рассчитано не на отечественного читателя («поселяне не станут покупать своих же песен»), а на зарубежного: «купят все любители Славянства, все ценители народной поэзии: им приятно будет иметь книгу красивую, и они не поскупятся дать за то подороже» [14]. Расчет издателя Гебгарди оказался верным — двухтомник был сразу раскуплен.

Во второй период продолжают выходить и труды по лингвистике — фундаментальные работы Й. Добровского, Й. Юнгмана, Е. Копитара и других ученых, обогатившие мировое славяноведение. Наряду с ними выходит множество лингвистических словарей, грамматик, полемических работ, брошюр.

Издания фольклора, развитие литературы, прежде всего поэзии, на родном языке вызвали необходимость создания определенных языковых норм. Становление этих норм — весьма сложный процесс, в котором принимали участие многие деятели национальной культуры. Порой шли непримиримые споры — достаточно вспомнить жестокую полемику В. Караджича и Й. Хаджича, борьбу за словацкий язык, опыты иллиров, первые попытки галичан писать на русском языке. Все эти процессы отразились на страницах книг. Небольшие, без иллюстраций, они хранят огромный полемический заряд и часто близки по облику к политической брошюре.

Политические брошюры выходили в этот период едва ли не во всех славянских странах. В частности много их появилось в Словакии в эпоху борьбы с усилением венгерского национализма и особенно в период революции 1848—1849 гг. Нередко политическая брошюра выходила не на родном языке, а на господствующем, чаще всего на немецком. В то время выходили не только брошюры политические, но также поздравительные, юбилейные, вирши на приезд именитого гостя и т. д.

Особое место в славянских изданиях занимают произведения художественной литературы — оригинальные, переводные, переработки. Прежде всего следует упомянуть о большом количестве пьес, которые ставились в театрах. Они издавались по одной или небольшими сборниками. Иногда в таком сборнике, выходившем в нескольких выпусках, каждая пьеса имела свой титульный лист и пагинацию. Так печатались многие произведения славянских национальных драматургов: Й. К. Тыла, Й. С. Поповича, Д. Деметера и др. Наряду с ними выходили и пьесы мирового репертуара в переводах на родной язык. Небольшие книжки, часто снабженные иллю-

страцией — фронтисписом, изображающим яркую сцену пьесы, отличаются изяществом и полиграфическим мастерством. Эти издания — свидетельство значительной роли театра в Чехии, Хорватии, Воеводине этого периода. В качестве примера можно привести сборник «Новый чешский театр», где среди прочих опубликована пьеса известного в свое время драматурга-просветителя Я. Н. Штепанека «Тинтили-вантили» с комической сценкой на фронтисписе [15].

Отдельными небольшими изданиями выходили сборники стихов и прозы национальных писателей и поэтов. Порой патриотическая ориентация книги отражалась уже в ее облике. Такова, например, книга стихов Э. Воцеля «Меч и чаша», посвященная гуситской тематике с изображением меча и чаши на переплете [16]. Иллюстрации, гравюры иногда были по формату больше самой книги, как, например, в сборнике, изданном В. Франтой и С. Томичком «Чех» с изображением праотца Чеха на фронтисписе [17].

Параллельно с оригинальными произведениями выпускалось множество переводов, подражаний, переработок. В чешской части коллекции Бодянского их особенно много — произведения Гесиода, Марка Аврелия, Саллюстия, Виргилия, Иосифа Флавия, Шекспира, Вольтера, В. Скотта, Сильвио Пеллико, Жорж Санд и др. Часть этих книг снабжена портретами авторов, например, «Иллиада» Гомера [18].

Религиозной литературы в печатной продукции деятелей славянского национального возрождения весьма немного. Это объясняется прежде всего отсутствием у них религиозного фанатизма, хотя многие из них были священниками и даже монахами. Однако такая литература все же встречается, особенно в Болгарии первых десятилетий XIX в. Как известно, первая болгарская книга была издана в 1806 г., и вначале печатались лишь книги духовного содержания, только в 1824 г. вышла первая светская болгарская книга — «Рыбный букварь» П. Берона.

Национальные издатели, тесно связанные с деятелями отечественной культуры, не отказывались выпускать духовные книги на родном языке. В качестве примера можно привести «Постные проповеди» Й. И. Странского знаменитого чешского издателя Я. Г. Поспишила с изящной гравюрой-фронтисписом [19]. Интересно отметить, что в учебной библиотеке Бодянского в МГУ она представлена в двух экземплярах, хотя вообще духовной литературы очень мало.

Порой выход литературного произведения становится событием национальной жизни. Так, поэма Я. Коллара «Дочь Славы» воспринималась современниками как гимн славянству и одновременно как энциклопедия знаний о нем. В 1832 г. Коллар выпускает комментарии к поэме. Объемистый том снабжен картами, иллюстрациями. Большое впечатление производит, например, гравюра «Аркона ночью», изображающая мрачный пустынный берег, в который превратился некогда славный цветущий герод балтийских славян [20].

Особую роль среди книг славянского национального возрождения играли альманахи и календари. Альманах был излюбленной формой издания, в нем соседствовали литературные произведения, стихи и проза, исторические очерки, фольклорные материалы, чаще всего народные песни, порой древние документы и свидетельства. Если он объединялся с календарем, содержащим сведения о постоянных и подвижных праздниках, днях рождения царствующей фамилии, почтовых тарифах и т. д., получался месяцеслов, обычно, как и альманах, имевший на фронтисписе изящную гравюру. Гравюра в альманахе часто изображала сценку из помещенного в нем произведения [21], пейзаж [22] или какой-то патриотический сюжет, например, портрет чешского национального короля Пршемысла Отакара III в панцире и шлеме [23].

Бедность издателей часто вынуждала их отказываться от иллюстраций.

Без них вышли, например, «Даница. Забавник» («Утренняя звезда. Альманах») В. Караджича, «Краньска чбелица» («Краинская пчелка») М. Кастилица, «Русалка Днестровая» и т. д. Некоторые альманахи выходили отдельными выпусками несколько лет подряд или с перерывами, приближаясь порой по форме к журналу (например, хорватское «Kolo»). Цензурные и материальные трудности, сопутствовавшие изданию всякого журнала, легче было преодолеть, выпуская отдельные томики альманаха.

И на первом, и на втором этапе национального возрождения практиковалось составление списков подписчиков на ту или иную книгу, помещавшихся в конце книги. Они представляют собой весьма интересный материал для определения читательского адреса.

Революция 1848—1849 гг. вызвала к жизни множество изданий, прежде всего брошюр, касающихся как политических, так и национальных вопросов. В предреволюционные и революционные годы возникли и некоторые новые славянские матицы — Хорватская (1842), Сербо-лужицкая (1845—1847), Галицко-русская (1848), немного позднее — Моравская (1852) и, наконец, уже в третий период — Словацкая (1863) и Словенская (1864).

Книга третьего периода национального возрождения во многом теряет свою специфику и вливается в общий поток европейских изданий.

Исчезает пестрота шрифтов, правописания, национальные языки приобретают нормы, во многом сохранившиеся и поныне. Выпускаются отдельные произведения, а также собрания сочинений писателей, в том числе умерших [24].

Широко представлена в тот период историческая книга — это и крупные многотомные страноведческие труды Палацкого, Зубрицкого и других, и публикации памятников национальной культуры и истории, часто многотомные (например, впервые выходят сочинения Яна Гуса). Внешний облик исторических изданий весьма строг, они выходят без иллюстраций и украшений. Также строго выдержаны периодические или полупериодические издания славянских Матиц, хотя по содержанию они включают в себя не только научные, но часто и художественные произведения. Так, например, Галицко-русская матица выпускала школьные хрестоматии, буквари, издала даже пособие по пчеловодству. Особняком стоит прекрасный альбом, выпущенный в 1866 г. Словацкой матицей, посвященный 300-летию со дня гибели венгерско-хорватского полководца и политического деятеля, героя турецкой войны Миклоша Зриньи. В этом издании словацкие будители накануне введения дуализма сделали попытку прославить мирную жизнь словаков с венграми в прошлом [25].

Проблема турецких нашествий в прошлом и положение славянских народов под властью Турции в настоящем занимали деятелей славянской культуры. В качестве примера можно привести небольшую книгу, выпущенную в Новом Саде в 1853 г. к 400-летию падения Константинополя. Автор ее не указан, переводчик — некий Георгий Хаджич, офицер из Осиеки. Книга снабжена комментариями, краткой вступительной справкой о судьбах Греции с 1453 по 1853 г., а также иллюстрациями, одна из которых — портрет Мухаммеда II с кальяном. [26].

Некоторые издания третьего периода сохраняют традиционный облик. Таков, например, словенский календарь А. Янежича [27] или собрание стихотворений различных словенских поэтов под названием «Колосья с родного поля» с портретом Прешерна на фронтисписе [28].

Особняком в тот период стоит болгарская книга. Вплоть до освобождения в Болгарии не было печатной базы для выпуска патриотических изданий. Болгарские книги, как правило, издавались в Будиме и Царьграде, Белграде и Бухаресте. Одессе и Москве и других небольших культурных центрах. Этим объясняется и пестрота их внешнего облика. Свое ярко выраженное лицо имеют издания Л. Каравелова — книги в тонкой обложке без иллю-

страдий. Вообще иллюстрации в болгарской книге весьма редки — тем интереснее иллюстрированная известным болгарским художником Н. Павловичем патриотическая книга Г. Раковского «Несколько слов об Асене I», вышедшая в Белграде в 1860 г. [29]. Еще один пример иллюстраций — портреты основателей Габровского училища в книге П. Славейкова [30].

Русско-славянские связи ярко прослеживаются по книгам всех трех периодов славянского национального возрождения. Едва ли не во всех славянских странах неоднократно издается «Слово о полку Игореве» в подлиннике и переводах, произведения русской литературы и фольклора попадают на страницы различных хрестоматий, выходивших во второй и третий периоды. В переводах с русского выходят учебники, произведения художественной литературы. Иногда это переработки, в которых не сразу узнается оригинал. Так, в 1858 г. И. Груев издаст рассказ «Сирота Цветана», в котором с трудом распознается переработка «Бедной Лизы» Карамзина [31]. Хранящиеся в московских библиотеках книги пестрят дарственными надписями просветителей русским ученым и общественным деятелям. Но это — тема отдельного исследования, в итоге которого должны заметно расширяться наши представления о русско-славянских литературных связях в рассматриваемый период.

В целом же книга эпохи национального возрождения — знаменательная веха в истории культуры славянских стран.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Пашиева Н. М.* Два автографа Яна Коллара в Исторической библиотеке // Советское славяноведение. 1981. № 1. С. 104—107.
2. *Пашиева Н. М.* Славянская библиотека О. М. Бодянского // Советское славяноведение. 1982. № 1. С. 94—103.
3. *Пашиева Н. М.* Историческая книга славянского национального возрождения // Советское славяноведение. 1985. № 4. С. 85—96.
4. *Мыльников А. С.* Чешская книга: Очерки истории (Книга. Культура. Общество). М., 1971.
5. *Pelzel F. M.* Nová kronika česká. Praha, 1791—1796. Díl. 1—3.
6. *Раич Й.* История разных славенских народов, наипаче Болгар, Хорватов и Сербов из тьмы забвения взятая и во свет исторический произведенная. Вена, 1794—1795. Ч. 1—4.
7. *Ezrovу bálné spolu s jeho žívotem zlova vydané od M. V. Krameryusa.* Praha, 1791.
8. *Милутонович С.* История Черне-Горе од искона до новиега времена. Београд, 1835.
9. *Blahoslav J.* Život Jana Augusty staršího a spravce Jednoty bratrské v Čechách. Praha, 1837.
10. *Kollár J.* Národnie zpievanky. Budín, 1834—1835. Díl. 1—2.
11. *Szuhany M.* Písne svétske lidu slovenského v Uhrich. Praha, 1839.
12. *Füredi V.* Narodní napěvy ku spevankam vyd. od J. Kollara. Videní, 1837.
13. *Haupt L. Schmalzer J. E.* Volkslieder der Wenden in der Ober- und Niederlausitz. Grimma, 1841—1843. T. 1—3.
14. *Гильфердинг А. Ф.* Народное возрождение сербов-лужичан в Саксонии. М., 1856. С. 11.
15. *Štěpánek J. N.* Tintilivanti, aneb At' se to jen ždný nedozví! Původní veselá hra. Praha, 1819. (Nové divadlo české, 1,3.)
16. *Vocel E.* Meč a kalich. Praha, 1843.
17. *Čech.* Zabavní a poučující spis. Vydan od V. Franty a S. Tomicka. Praha; Hradec Králové, 1832.
18. *Homeroва Iliada přeložením Jana Vlčkovského.* Praha, 1842.
19. *Stranský J. J.* Postní kázani držaná 1828. Hradec Králové; Praha, 1829.
20. *Kollár J.* Výklad čili Prímety a vysvetlivky ku Slávy Dcere. Pešt, 1832.
21. *Давидовић Д.* Забавник за годину 1834. Крагуевац, 1834.
22. *Vesna.* Almanach pro kvetauci svět / Sest. K. Tupý. Praha, 1837. Roč. I.
23. *Milina* aneb Novoroční čtení od dr. J. L. Z. Hradec Králové, 1825.
24. *Holly J.* Spisy básnické. Pešt, 1863.

25. Pamätnik Matice Slovenskej ku tristoroĉnej oslave Mikuláša Šubiĉa Zrinskeho konanej na Slovensku. B. Bystrica, 1866.
26. Хаџић Г. Плачевно падение Константинопола 1453 Цариграда несрећне године. Нови Сад, 1853.
27. Janežič A. Slovenske koleda za leto 1859. Celovec, 1859.
28. Klasje z domačega polja. Zbirka najbolših del slovenskih pisateljev / Nabrala in izdala Joz. Jurčič in Joz. Stritar. Ljubljana, 1874.
29. Раковски Г. С. Няколко речи о Асеню първому великому царю българскому и сину му Асеню второму. Белград, 1860.
30. Славейков П. Габровско-то училище и негови-те първи попечители. Цариград, 1866.
31. «Сирота Цветана». Приказка поболгарена от I. Груев. Цариград; Галата, 1858.



ЛИПАТОВ А. В.

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН: ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА

(русско-польские типологические параллели
XVIII — середины XIX века)

Возникновение исторического романа не ограничивается сферой проблем литературной эстетики. При рассмотрении этого литературного феномена генологические критерии оказываются явно недостаточными, ибо ограничивают комплекс вопросов формальной сферой. В результате такого подхода «улетучивается» не только содержательная суть художественной системы как единства формы и содержания, но и сама генетическая сущность жанра, причины его появления, которые отнюдь не сводятся к сугубо литературной сфере. В этом отношении показательна уже сама хронология: в Польше, как и в России, исторический роман возникает во времена Просвещения. Это была общеевропейская по своим масштабам эпоха кризиса феодального строя при одновременном развитии отношений капиталистического типа, которые интенсифицировали процесс формирования наций и обуславливали коренные изменения во всех сферах общественного бытия и сознания¹. Стремление просветителей к практическому осуществлению новых идеалов общественного устройства осуществлялось путем осознанного противопоставления прежним мировоззренческим стереотипам. Такое противопоставление, определяя направленность перемен, в то же время способствовало радикальному переосмыслению прошлого, поисков в нем как причин современного кризиса, так и истоков современного прогресса. Тем самым история стала осмысляться в свете борьбы противоборствующих начал и порождаемой этим динамики изменений. Вот почему прошлое становится объектом особого интереса не только историков, но и философов, художников, архитекторов (обращение к классической античности и к готике), а также писателей.

Итак, появление исторического романа было обусловлено конкретным историческим временем и связано с рядом факторов, predeterminedных именно этим временем. Тем самым возникновение исторического романа является следствием достижения определенным обществом исторически конкретной фазы зрелости национального самосознания, обусловленной общеевропейским процессом формирования наций. Как проявление определенной направленности интеллектуальных устремлений в сфере содержания оно

¹ Липатов Александр Владимирович — д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН.

¹ Этим процессам в странах Центральной и Юго-Восточной Европы посвящена серия исследований Института славяноведения и балканистики: РАН [1—6].

связано с эволюцией историчности мышления, когда возникает та категория историзма, от которой уже в прямой линии идет родословная этого понятия в современном объеме. И, наконец, в сфере беллетристики появление исторического романа отражает достижение литературой и литературной культурой той стадии развития, когда искусство слова способно отразить и по-своему развить отмеченные выше социально-исторические процессы и философские идеи в сфере художественного мировидения.

В разных странах эти общеевропейские закономерности обретали в зависимости от местных условий специфически национальное проявление, что получило отражение и в национальном историческом романе. Об этом свидетельствует и пристрастие к определенным темам, и сам сюжетный облик. Небезынтересно с этой точки зрения сопоставление первых русских и польских исторических романов (тем более, что только в сопоставлении можно выявить как общие закономерности, так и сугубо национальные особенности). В русской литературе их непосредственным истоком стали «Пересмешник» (1766—1768) М. Д. Чулкова и «Славенские древности» (1770—1771) М. И. Попова. Сюжетно-фабульные стереотипы русской авантюрно-волшебной повести конца XVII — начала XVIII в. здесь переосмысляются в свете русской народной сказки и обрядовой поэзии — с одной стороны, историографии и этнографии — с другой [7. С. 52—53]. Действие такого рода «исторических» повестей разворачивалось в доисторические (до возникновения Киевской Руси) времена, а вымышленные славянские герои, подобно персонажам сказок и авантюрных романов, совершали невероятные подвиги, участвовали (как это было у Попова) в событиях, происходивших в Китае, Индии и Вавилоне. Таким образом, русская история обретала свое место в библейско-античных временах, укрепляя чувство национальной гордости и патриотизма. Кончились времена петровской нетерпимости к древнерусской традиции. Вышедшая благодаря его реформам на мировую арену европеизированная «Московия» начала искать свое национальное лицо в кругу европейских соседей.

В Польше 60—70-х годов XVIII в. на волне борьбы за реформы отношение к европеизации было типологически подобно петровским временам в России². Отсюда невозможность появления здесь аналогов творчества Чулкова, Попова или Левшина. Древние уклады, традиции, обряды, даже национальные костюмы — все это отождествлялось со средневековой «готикой» и «сарматизмом» как идеологией традиционалистов, противящихся просветительским преобразованиям. Лишь с 80-х годов, когда под воздействием факторов внешнего (угроза утраты национальной независимости) и внутренних (патриотизм и реакция просветителей на перехлест в нескритичном увлечении Западом) в культуре начнется своего рода синтез «просвященного сарматизма» и «сармативизированного Просвещения»³, в его русле нарастает и просветительское увлечение национальной стариной (Пулавы, сентиментализм, предромантизм [8. С. 86—107; 9. С. 357—379]). Именно на этой волне в культуре и литературе возникает и польский исторический роман: «Говорэк, чей герб Равич» (1789), «Жепиха, мать королей» (1790) Ф. С. Езерского и «Лешек Белый» (т. 1 — 1789, т. 2 — 1792) Д. М. Краевского. В сопоставлении с русской «исторической» прозой 60—70-х годов эти произведения отражают характерные различия русского и польского Просвещения (при всей их общности в рамках этой всевропейской эпохи) [5. С. 20—96].

² Естественно, «типология» не означает «аналогии». Насильственная петровская европеизация в условиях самодержавия и европеизация в условиях шляхетской республики отличались по методу, стилю и характеру распространения. Общими же была сама направленность общественно-культурной ориентации и стремление к обновлению государственно-экономической системы в свете современных западноевропейских учений.

³ О взаимодействии и взаимопроникновении Просвещения и сарматизма см. [2].

Стремительное выдвижение молодой державы на одно из первых ключевых мест в европейской политике, победы русского оружия — все это находило преисполненное энтузиазмом отражение в русской литературе. Причем атмосфера национального подъема способствовала не только прославлению современности и поискам обоснования государственного величия в далеком прошлом. Она позволяла и «расслабиться» — увеличить в литературе удельный вес «приятного» за счет «полезного». Отсюда — развлекаемость первой русской «исторической» прозы с присущими ей элементами авантюрного романа, волшебных сказок, декоративной обрядности и «заморской» экзотики.

Польская литература в условиях угрозы потери национальной независимости и острой борьбы за реформы с внутренней оппозицией не могла себе этого позволить. Отсюда — политическая заостренность, публицистическая ангажированность, гражданственность и дидактизм первых польских исторических романов. Их обращение к определенным этапам национальной истории обретало художественное осуществление в идейном параллелизме с современностью. Социальные, политические и нравственные проблемы изображаемого в романе прошлого как бы проецировались на актуальность, обретая аллегорический смысл и поучительность в соответствии с известной всем современникам школьной аксиомой: «*Historia est magistra vitae*».

Формальные — геологические и стилевые — отличия произведений Чулкова и Попова, с одной стороны, и Езерского и Краевского — с другой, отражают различия в самой истории русской и польской литератур, в их философско-эстетическом опыте и характере развития.

«Историческая» проза Чулкова и Попова — это по фабульно-сюжетным и художественно-языковым принципам — пред- и околороманная форма. Произведения же Езерского и Краевского — при всех своих отмеченных польских особенностях — целиком и полностью вмещаются в эталонные формы романа, имеющего в Польше (в отличие от России) давние традиции [10]. Уже на первой стадии Просвещения они (в отличие от ситуации романа в русской литературе [7. С. 40—65], где крупнейшие авторитеты — Третьяковский, Ломоносов и Сумароков — отнеслись к нему более чем сурово) были нобилитированы самим классицистическим «князем поэтов» И. Красицким [11]. Вместе с тем, в силу того, что русская литература эпохи Просвещения быстро наверстывала историческое отставание от ведущих литератур Запада также и в области романа, можно обнаружить целый ряд точек соприкосновения произведений Езерского и Краевского с русским историческим романом 80-х годов XVIII — начала XIX в.

Уже у В. А. Левшина ⁴, продолжателя линии М. Д. Чулкова, наблюдается тенденция к литературному освоению русского былинного эпоса сквозь призму западного рыцарского и отчасти авантюрного романов. Свойственные этим внутрижанровым разновидностям романа особенности в разной степени присутствуют и в произведениях Езерского и Краевского. В еще большей степени им близка историческая повесть Н. М. Карамзина: «Марфа Посадница, или Покорение Новгорода» (1802), где события прошлого также проецируются на современность (времена французской революции), где текст, так же, как и в «Жепах» Езерского выдается за древнюю рукопись,

⁴ Его «Русские сказки, содержащие древнейшие повествования о славных богатырях, сказки народные и прочие, оставшиеся в памяти приключения» (1780—1783, 4-е изд. — 1829) и «Вечерние часы, или Древние сказки славян древлянских» (1787—1788) оказали — вплоть до появления «Истории государства Российского» Карамзина — колоссальное воздействие на русских прозаиков и поэтов, включая Пушкина.

написанную очевидцем, где так же, как и в первых польских исторических романах поднимаются проблемы власти, «народного мнения», где также характер исторического деятеля рассматривается как важнейший фактор индивидуальной и народной судьбы, где нравственно-психологическая трактовка персонажей и конфликтов является ключом к постижению истории. Такие совпадения относятся к сфере типологии, ибо обуславливаются как общностью мировосприятия Просвещения, так и общностью литературной эстетики того времени (особенно сентиментализма и предромантизма), отражая общие закономерности истории славянских литератур⁵ как части всевропейской литературной общности. Вместе с тем в этом общем (с точки зрения канонов жанра и эталонов художественной условности) русле литературного развития проявляются и особенности авторской индивидуальности, обусловленные не только интеллектуально-психологической спецификой личности, но и самой неповторимостью той национальной почвы, на которой она произрастает. Так, увлеченный стихией народности, Левшин первым вводит русскую прозу в сферу предромантического мироощущения [7. С. 55]. Погруженный в размышления о сути национальной истории, русском типе гражданственности, русском патриотизме, и — в отличие от традиционного мировидения древнерусской письменности — личностном, нравственно-психологическом мироощущении — Карамзин как представитель именно русского варианта сентиментализма идет через свои исторические романы к идее «Истории государства Российского» [7. С. 81].

В это же время в Польше свойственный сентиментализму тип мировидения обуславливает характер переосмысления романистами национальной истории в свете современной трактовки понятий личности и общества, современных социально-экономических проблем и современной политической ситуации Речи Посполитой. Так, романы страстного публициста и радикала Езерского являются своего рода художественным продолжением его самореализации как в сфере непосредственной политической деятельности, так и разработанных в его публицистике социальных, исторических и политических идей. Это получает характерное именно для личности Езерского отражение не только в идейном радикализме его романов, но и в особенностях самой их формы, которые дают о себе знать в рамках общих для европейских литератур внутрижанровых эталонов. Проникновенный, написанный в духе сентиментализма, монолог Говорэка («Говорэка, чей герб Равич») по стилю, внутреннему накалу (не говоря уже об идейном звучании!) подобен голосу самого автора в его публицистике, создаваемой в ключе не столько поэтики, сколько риторики. Именно темперамент Езерского-политика обусловил обращение к читателю не через статью (которой свойственен спокойно-рассудительный стиль изложения), а через запечатленную на письме речь, обращение, монолог с мастерским использованием всего арсенала средств риторики, которой он блестяще владел еще во времена учебы в коллегии пиаристов. Идеи и стиль публицистики Езерского также непосредственно соприкасаются с содержанием и формой его «Жепихи». Более того — темперамент автора, прорывающийся в примечаниях к романному тексту, оборачивается прямым — хронологическим, идейным и формально-стилевым «вторжением» автора, разрушающего им же принятую литературную условность (роман выдается за древнюю рукопись, написанную персонажем-очевидцем). По-своему проявляется в «Лешке Белом» и авторская личность Краевского-педагога и художника.

⁵ Этому кругу вопросов посвящены мои статьи [12; 13. С. 14—77; 5. С. 20—96; 14. С. 5—83].

Современные и свойственные автору идеи истории, общественного устройства, воспитания [15] отражаются в сюжете наряду с увлеченностью Краевского миром народных преданий (польская параллель к творчеству Чулкова, Попова, Левшина) и предстают в свете предромантического мироощущения, которое в польских условиях складывается в атмосфере взаимосуществования и взаимодействия барочной, классицистической и сентименталистской стихий [5. С. 123—170; 4. С. 129—141].

Романы Езерского и Краевского стоят у истоков польского исторического романа. Дальнейшее его развитие осуществлялось, как и в соседней России (Н. М. Карамзин. «Наталья, боярская дочь», 1792), в русле сентиментализма и все нарастающих предромантических тенденций. Для ранней стадии этой линии эволюции в польской литературе симптоматична «Астольда, княжна из рода Палемона, первого литовского князя, или злосчастные последствия страсти» (1807) А. Мостовской — первый из польских исторических романов, написанных в XIX в. И для «Натальи», и для «Астольды» в художественном отображении прошлого характерно использование наряду с историографическими трудами исторических преданий. В обоих романах отражается стремление к осознанию отечественного прошлого сквозь призму современных авторам философско-эстетических представлений (идеалы Руссо, отзвуки Оссиана, свойственные сентиментализму стиль, трактовка характеров и основного конфликта). Отсюда и общее для Карамзина и Мостовской стремление не столько описать саму историю, сколько создать некий условно-исторический колорит, отразить не столько исторический конфликт, сколько историю любви, пробуждая в читателе чисто художественное переживание «историчности», сугубо эстетическое восприятие национальной старины как некой идеальности национального бытия, еще не искаженного последующими временами. Такого рода сентименталистское видение прошлого довольно быстро эволюционировало и трансформировалось в свойственные уже раннему романтизму устремления к познанию своего, национального, неповторимого (на общем интернациональном фоне) исторического пути, своей, национальной культуры, своего, национального характера и его конкретных проявлений в прошлом, которое и предредило во многом национальную современность и современное состояние умов.

Собственно, сентиментализм, как в русском, так и в польском историческом романе, подготавливал этот жанр к восприятию романтических идей и романтической эстетики. Причем в процессе формирования нового жанрового эталона решающую роль сыграло творчество Вальтера Скотта. И не случайно — именно в силу общности закономерностей литературного развития и относительной синхронизации самого этого развития в течение второй половины XVIII в. — русский и польский исторический романы одновременно — в 20—30-е годы XIX в. начали осваивать этот новый жанровый эталон, связанный с именем великого шотландца ⁶. При всех

⁶ Ценным — в плане историческом и собственно художественном — свидетельством причины успеха В. Скотта является суждение А. С. Пушкина: «Главная прелесть романов Walter Scott состоит в том, что мы знакомимся с прошедшим временем не с enflure французских трагедий — не с чопорностию чувствительных романов — не с dignité истории, но современно, но домашним образом» (см. [16. С. 195]). Автор романтических повестей, сыгравших важную роль в процессе формирования русского исторического романа, А. А. Бестужев-Марлинский писал в ту же полосу времени: «Вальтер Скотт решил наклонность века к историческим подробностям, создал исторический роман, который стал теперь потребностью всего читающего мира, от стен Москвы до Вашингтона, от кабинета вельможи до прилавка мелочного торговца» (см. [17]). Эти суждения русских писателей по своей направленности совпадают с мнениями таких их польских современников, как Ф. Скарбек, М. Грабовский, В. Жевуский (ср. также [18]). О рецепции В. Скотта в Польше этого времени см. [19—22].

своих несовершенствах первым наиболее целостным воплощением такого генологического типа в Польше был «Ян из Тенчина» (1825) Ю. У. Немцевича, а в России — «Юрий Милославский» (1829) М. Н. Заго-скина. Общим для польских и русских «вальтерскоттовских» романов той поры было пока еще поверхностное восприятие уроков мэтра, отсутствие углубленного, критического видения истории, глорификация прошлого, увлечение чисто внешней, «декоративной» стороной минувшего — вне воссоздания исторически достоверных характеров и конфликтов.

Наряду с этой линией развития дает о себе знать тенденция к созданию национально своеобразного типа романа (в том числе — и исторического), что является естественным следствием теперь уже в сфере художественного мышления — осознанности национального своеобразия своей истории, культуры, языка. В России венцом такой устремленности стали шедевры Пушкина — «роман в стихах» «Евгений Онегин» (1823—1830, 1 полн. изд. — 1833) и — в области исторического романа — «Капитанская дочка» (изд. 1836 г.)⁷. В Польше — поразительное совпадение ⁸! — в эту же полосу времени создается национальный шедевр исторической прозы: «Воспоминания ясновельможного пана Северина Соплицы, чеснока парнавского» Г. Жевуского.

При всей несравнимости шедевров разных литератур в силу их оригинальности, обусловленной как национальной спецификой, так и гением художников, при всей несопоставимости шедевров в силу их художественной новизны, которая сама порождает новые типологические тенденции, в данном случае представляется возможным провести определенные русско-польские параллели, отражающие закономерности общего плана.

I. Синхронное возникновение национальных типов исторического романа в русской и польской литературах при всей «случайности» совпадения во времени (действие субъективного фактора — одновременное появление двух ярких индивидуальностей) обусловлено действием факторов объективных — общественно-исторической ситуацией нации, уровнем ее национального самосознания и степенью развития национальной литературы. Все это является следствием общеевропейского по своим масштабам процесса формирования наций и проявлением его в сфере духовной деятельности.

II. В этой последней общеевропейский интерес к собственно национальной культуре, истории и языку привел к расширению внимания «высокой» культуры — от сосредоточенности на самой себе к обращению к культуре «средней» (буржуазно-городской) и особенно «низовой» (крестьянской). Именно она (согласно утвердившимся тогда воззрениям) не испытала нивелирующего воздействия космополитической европейской образованности, а благодаря этому сохранила изначальные национальные ценности и национальное своеобразие. Отсюда неслучайно и обращение писателей к собственно национальным формам в сфере искусства слова.

⁷ Эти шедевры имеют огромную научную литературу. Обобщающие исследования их жанрового своеобразия — разделы Б. С. Мейлаха, А. В. Чичерина, Н. В. Измайлова в [7].

⁸ Поразительно, ибо помимо действия факторов объективных, отмеченных общих закономерностей русского и польского литературного развития, обуславливающих относительную синхронность процесса, проявился и фактор субъективный: именно в эти же годы расцвета пушкинского таланта в жанре романа проявил себя и гений Жевуского. (Еще одно «случайное» совпадение: оба они были близко знакомы, а сестра Жевуского К. Собаньская была одной из «муз» Пушкина и Мицкевича.) К работе над «Воспоминаниями Соплицы» Жевуский приступил в 1830 г. В 1837 г. рукопись была тайно переправлена в Париж Мицкевичу, где и была издана анонимно два года спустя.

В польских условиях, где (как в соседней Венгрии и в далекой Испании) дворянство в процентном отношении составляло весьма значительную часть нации и являлось единственной политической силой страны, культура именно этого (внутренне весьма дифференцированного) социального слоя нации отождествлялась с национальной культурой, а само это сословие — с понятием «народа». И именно свершения этого «народа» в духовной сфере были определяющими на протяжении веков⁹. Отсюда вполне естественен не столько интерес, сколько органичная связь графа Жевуского с жанром шляхетского фольклора, равно как и вполне закономерно последующее литературное его использование, ибо гавэнда — одно из ярчайших проявлений национального своеобразия Речи Посполитой в искусстве слова.

В соседней России столь же закономерным было обращение к просто-народной стихии, где в отличие от «европеизированных» (т. е. воспитанных на западный манер) образованных сфер (многие представители которых лучше владели французским, нежели родным языком) сохранилась давняя русская культурная традиция, свойственный ей язык, психология, мироощущение. В сфере искусства слова ярким выражением этого национального духа был фольклорный сказ, связанный с просто-народной средой. Ему-то и суждено было сыграть в русской литературе роль, подобную той, которую в литературе польской сыграла гавэнда. Назревание этой новой литературной тенденции ощущается уже в прозе В. Т. Нарезного, обретая более зрелые формы в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» (I т. — 1831, II — 1832), принесших славу Н. В. Гоголю. В отличие от «Воспоминаний Соплицы» фиктивный повествователь — пасечник Рудый Панько — выступает как автор лишь во вступлении, в самом же тексте цикла повествование ведется как бы от третьего лица. Однако сквозь условность этого объективизирующего приема повествования постоянно «прорывается» как сам индивидуализированный (этнически, социально и географически) рассказчик из вступления, так и сопереживающий с ним и симпатизирующий ему автор, непосредственно обращающийся в своих отступлениях к читателю, что в сумме создает неповторимый «малороссийский» колорит этого шедевра.

В структурном плане литературно-типологическим аналогом гавэнды Жевуского в русской поэзии является знаменитое «Бородино» (1837) М. Ю. Лермонтова, где повествование об историческом прошлом ведется от имени старого солдата, ветерана, участника событий. В русской литературе эта повествовательная тенденция связана, с одной стороны, с фольклорным жанром сказа (повествование о современном или недавнем прошлом), а с другой — с особым типом повествования в устной речи, связанном с личностью самого рассказчика, принадлежавшего к определенной (просто-народной) социальной среде. В художественной прозе после Гоголя своеобразным продолжением-развитием этой линии являются некоторые произведения Г. И. Успенского, Н. С. Лескова, Л. Н. Толстого и других, а в XX в. — рассказы М. Зощенко, Б. Житкова, Л. Пантелеева, П. Бажова, а в наши дни — М. Жванецкого и др. В поэзии эта линия, впервые ярко и талантливо обозначившаяся в «Бородино» Лермонтова, обретает дальнейшее развитие в стихотворениях Н. А. Некрасова, И. С. Никитина и других, а в наши дни — А. Т. Твардовского и др. Таким образом, в русской литературе эта тенденция оказалась более плодотворной и живучей, чем в польской (что, может быть, является следствием ее более широкой — в социально-культурном плане — основы).

⁹ Собственно, они продолжают играть определенную роль в польском национальном самосознании вплоть до наших дней, периодически вызывая общественные дискуссии в попытках самих поляков разобраться в своей национальной сути.

Различия между польской гавэндой и русским сказом при всей их сугубо структурной и функциональной типологической общности и подобном характере использования в литературе обусловлены, с точки зрения типа повествования и образа рассказчика, не только различиями сугубо национального, но и социального свойства — со всеми вытекающими отсюда последствиями идейно-тематического и формально-эстетического свойства. По сути эти сугубо национальные жанры являются отражением (и порождением) определенных исторических различий в польском и русском этносах. Гавэнда связана с культурой шляхты, отражает ее мировидение, исторический опыт, психологию, образ жизни, систему ценностей и сам стиль общения; сказ — с простонародной стихией, различными составляющими ее социальными (крестьяне, горожане) и профессиональными (ремесленники, солдаты, торговцы, мастеровые и т. д.) слоями. Отсюда и отличия «сказовой» литературы от «гавэндовой» в тематике (в «сказовой» преобладает бытовая, нравоописательная стихия), в социальном охвате (соответственно — простонародные и шляхетские персонажи, коллизии, интересы), в самом смысловом звучании, уровне культурных горизонтов и характере литературного пространства (не говоря уже о стилевых отличиях, отражающих различия в сфере социальной психологии и культуры). В силу этого сказ не подходил для жанра исторического романа, гавэнда — подходила, однако, в ограниченной степени, что было обусловлено самим образом повествователя, детерминирующего как всю систему повествования, так и саму аксиологическую сферу, интеллектуальные горизонты и возможности чисто временного охвата событий (ограниченных жизнью рассказчика-очевидца). Это великолепно понимал и сам Жевуский: отсюда и его переход к другим формам исторического романа, несмотря на феноменальный успех «Воспоминаний Соплицы».

III. Рассмотренные здесь новые для польской и русской литератур национально окрашенные типы повествования, обусловленные самим сугубо национальным образом рассказчика с его психологией, воззрениями, привычками и самой манерой говорить, в то же время «встречались» и взаимодействовали с новой, свойственной романтизму и постепенно приобретающей общеевропейский масштаб литературной тенденцией (англ. *ironical poem*, нем. *romantisch-ironisches Epos*, польск. *poemat dygresyjny*). Она была национальной и наднациональной одновременно. Ее история восходит к «Чайльд Гарольду» (1812—1818) и «Дон Жуану» (1819—1824) Байрона. Крупнейший русский образец — «Евгений Онегин» Пушкина, польский — «Беневский» Словацкого. При всех различиях, обусловленных гением автора и национальным своеобразием литературы, общее для этого типа повествования — образ и роль повествователя, который выдвигается на первый план, как бы отодвигая и тесня саму фабулу. Его характер, воззрения, отношение к описываемому предопределяют не только тональность повествования, но и сам сюжетный тип: авторские отступления, лирические и философские размышления, иронические либо сатирические замечания, комментарии по поводу персонажей и возникающих между ними коллизий — все это создает повествование свободное, лишенное сюжетной последовательности, фрагментарное, либо прерываемое замечаниями и суждениями автора-рассказчика, который нередко непосредственно обращается к читателю, ведя с ним своеобразную литературную игру, а его отступления создают специфическую атмосферу и колорит сугубо национального свойства.

В появлении и развитии такого повествовательного типа в польской литературе роль Жевуского трудно переоценить: не будь его, невозможно представить, какими были бы шедевры национального романтизма: «Пан Тадеуш» Мицкевича, «Беневский», «Поэма Пяста Дантышека» Словацкого, равно как и целое направление в польской поэзии и прозе XIX в., так или иначе связанное с поэтикой гавэнды.

Обусловленное отмеченными выше тремя сферами общеевропейских закономерностей и взаимосвязанными с ними «встречными течениями» (термин А. Н. Веселовского) со стороны отдельных литератур произведений Жевуского является плодом его сугубо национального таланта, возросшего на почве европейской образованности и старопольской культурной традиции. При этом нельзя не вспомнить и роль одного из крупнейших гениев славянского романтизма Мицкевича, который первым почувствовал литературные возможности и эстетические перспективы гавэнды как жанра шляхетского фольклора (точно так же, как раньше он почувствовал и использовал фольклор белорусских, литовских и польских крестьян). Именно Мицкевич инспирировал литературный дебют Жевуского, который по своему значению для польской романтической прозы можно считать равнозначным¹⁰ дебюту самого Мицкевича в польской романтической поэзии.

«Господь сотворил тебя писателем, а ты пренебрегаешь этим наипрекраснейшим писательским талантом в сегодняшней Польше», — эти восторженные слова вырвались у великого поэта в Италии (1830), когда он слушал колоритные рассказы-гавэнды Жевуского [23]. Тот, по собственному свидетельству, ответил: «Это не материал для литературной обработки». Но Мицкевич настаивал: «Прошу тебя, опиши это все». — «Я никогда не обучался писательству», — сопротивлялся Жевуский. — «Попробуй!» — настаивал Мицкевич. — «Но как?» — «Так, как говоришь», — последовал ответ [24].

Мицкевич не ошибся ни в литературном даре Жевуского, ни в литературных возможностях гавэнды. Вышедшие девять лет спустя в Париже (1839 г., рус. перевод ок. 1851 г.) при содействии Мицкевича «Воспоминания Соглицы» сразу же сделали Жевуского известнейшим писателем. Правда, пошли разговоры, что талант его находится под сильным влиянием «Пана Тадеуша» (появившегося пятью годами ранее), что сам колорит поэмы Мицкевича легко угадывается в прозе Жевуского. На это ответил сам Мицкевич; «...Все было наоборот. Это я почерпнул из рассказов Жевуского идею „Пана Тадеуша“ и весь колорит этой исторической поэмы и даже фамилию Соглицы» [23. С. 54—55]. Сохранилось и свидетельство самого Жевуского: когда он показал Мицкевичу написанные им части «Воспоминаний Соглицы» («Ксендз Марек» и «Пан Держановский»), Мицкевич назвал это превосходным и добавил: «чтобы дать тебе свидетельство, как я ценю твои повести и сколь большое и решительное придаю им значение и вес, обещаю, что герой первой поэмы, которую я еще напишу, будет называться Соглица, пиши же ты прозой, а я буду писать стихом» [24]¹¹. Так парадоксально начинался Жевуский-писатель. И последующая его судьба в литературе и жизни была парадоксальной. Парадоксально складывалась она и позже — вплоть до наших дней. Возмущение «слева» и «справа», остракизм «справа» и «слева». Беспощадность царской цензуры и беспощадность (а то и остервенение) реакции разных группировок (на которые была расколота социально активная часть польской нации) на независимую от их программ мысль и осмелившегося занять свою, особую, индивидуальную позицию автора. И вопреки этому на протяжении всей своей жизни свой упорный и последовательный путь — без оглядки на то, что «скажут», но с твердой решимостью сказать «свое» — выношенное и сокровенное.

Сама аномальность существования нации без собственной государственности, полицейские репрессии, глубокий внутривнутриполитический и социальный раскол польского общества — все это исключало возможность нормального обмена мнениями и рассудительных выводов. Однако и впослед-

¹⁰Равнозначным как с точки зрения воздействия на национальную литературу (соответственно, на поэзию и прозу), так и с точки зрения обращения к фольклору (там — крестьянскому, тут — шляхетскому) и творческого использования его возможностей.

¹¹З. Швейковский считает, что воздействие рассказов — гавэнд Жевуского на творчество Мицкевича началось еще раньше — во время их встреч в Одессе и Крыму (1825). Баллада «Szaty» (известная русскому читателю как «Воевода» по переводу Пушкина) и историческая гавэнда «Poras w Urzycie», столь непохожие по своей тематике на творчество Мицкевича свидетельствуют об инспирирующей роли Жевуского (см. [25. S. 62]).

ствии, в новых исторических условиях ставшие привычными суждения прошлого превратились в своего рода интеллектуальный гнет, породив целую серию стереотипов, которые до сих пор дают о себе знать. Жевуский до сих пор остается их жертвой.

Настало время объективно взглянуть на минувшее с той перспективы, которую дает дистанция времени и исторический опыт. Что же касается самого Жевуского, то даже в его современности можно найти важные свидетельства, позволяющие увидеть его в истинном свете. Так, в польской среде это его пиетет к Мицкевичу (во все времена, включая и те, когда само упоминание имени мятежного поэта было запрещено царской цензурой), равно как и отношение к нему самого Мицкевича. В русской среде — его контакты с участниками революционного движения, связи с Пушкиным, Грибоедовым и другими представителями передовых кругов. В этой связи показательное суждение поэта и критика П. А. Вяземского, который был близок к декабристам, дружил с Пушкиным, общался с вольнолюбивой шляхетской средой и периодически бывал не в ладах с царским режимом. «Граф Гейнрих Ржевуский, Польский писатель, известный и прославившийся своими историческими романами, в которых воскрешал он нравы и быт старой Польши, был сам кровный и ширый поляк. Он принадлежал старой отчизне душою, преданиями и убеждениями, пожалуй, и предубеждениями, ложно-историческими и клерикально-религиозными. Но все же эти убеждения, смешанные с предубеждениями, входили в плоть и кровь его. «Воля ваша, — обращается Вяземский к своим русским оппонентам, — должно уметь мириться и с подобными людьми, а не забрасывать их укоризнами и камнями риторического патриотизма. Можно быть политическим противником их, но и в борьбе должно уважать честного врага. В этой среде Ржевуский был единомышленником собратий своих, но и отличался от них. В нем были патриотические сожаления и скорби, но не было безумных упований и самонадеянных требований. Рассудок его не щетинился пред силою вещей и приговором свершившихся событий. Помимо страстей и закоренелых сочувствий, он нередко ясно и метко вглядывался в вещи и видел их такими, какими были они на самом деле» [26] ¹². Вот мнение благородного полемиста, понимающего и уважающего другое мнение. Такой подход и такие либерально-демократические убеждения способствовали спокойному-рассудительному восприятию и как следствие — объективным суждениям, которых так недоставало Жевускому при жизни и недостает до сих пор ¹³.

Спокойная уравновешенная и основанная на документах переоценка личности, позиции и таланта Жевуского только начинается ¹⁴. Это особая тема. Здесь же основное внимание уделено попытке выявить национальное своеобразие и европейскую оригинальность шедевра Жевуского.

¹²Для этой оценки (равно как и позиции русского писателя) знаменательно и то, что Вяземский использует именно польские слова (приводя их в русской транскрипции и выделяя их графически) как единственно возможное — лексикально адекватное — выражение характерных национальных черт и подлинного патриотизма Жевуского.

¹³Ключом к пониманию такой судьбы (равно как и того, что сами поляки называют «польскими комплексами») может послужить недавнее высказывание известного польского историка Г. Самсоновича: «Я принадлежу к, пожалуй, немногочисленным в Польше почитателям Генриха Жевуского. Прочитал его роман „Воспоминания Бартомея Михаловского“, который великолепно читается, и запомнил такую, на мой взгляд, гениальную констатацию: если бы Коперник жил в конце XVIII в. и вступил в Тарговицкую конфедерацию, то народ лишил бы его кафедры, отобрал руководство обсерваторией и обе эти почетные должности доверил бы Клиньскому» [27]. Клиньский — сапожник, возглавивший простой люд Варшавы во времена восстания Костюшко.

¹⁴В этом отношении особо следует выделить книгу А. Сьлиша, хотя и она не во всем преодолела сложившиеся предубеждения прошлого, с одной стороны, и привычные методологические подходы современности, связанные с ними оценочные критерии — с другой (см. [28]). Основные положения этой монографии изложены мною в реферативном журнале (см. [29]); см. также рецензию [30].

Во времена, когда в литературах Европы всевластным был тип исторического романа, созданный Вальтером Скоттом, Жевуский создает нечто принципиально иное, абсолютно оригинальное. И тема, и форма, и сама атмосфера «Воспоминаний Соплицы» впечатляют своей новизной, свежестью и выходом за рамки общепринятых литературных канонов и условностей. Эта необычность бросается в глаза при сопоставлении с общеевропейскими эталонами Вальтера Скотта, понять же ее можно через осознание национальных особенностей истории самой польской литературы и культуры. Рассматриваемый в таком аспекте шедевр Жевуского, не утрачивая признаков оригинальности, в то же время уже не предстает как некий абсолют оригинальности¹⁵, ибо обретает явный пункт соотнесения с польской традицией в культуре, литературе, истории. Речь идет о гавэнде как отражении и проявлении шляхетской культуры, свойственных ей воззрений, вкусов, психологических стереотипов и самого характера общения. Влияние этой своего рода «устной литературы» на литературу письменную ощущается уже в литературной мемуаристике XVII в. («Воспоминания» Я. Х. Пасэка — это самым автором запечатленная на письме гавэнда)¹⁶. Гавэнда оставалась живым явлением и во времена романтизма (существуя как бы параллельно с письменной литературой). Художественно-литературные возможности этого жанра шляхетского фольклора ощутил и использовал Мицкевич. Однако еще раньше стиль устной шляхетской речи как составной части поэтики гавэнды вводит в художественную прозу Ю. М. Оссолинский («Баденские вечера», ок. 1793—1794) и Ю. У. Немцевич («Два пана Сечеха», 1811 или 1814 г., I изд. 1815 г.). Мицкевич, который мастерски обработал эту жемчужину шляхетского фольклора, был свидетелем прежде всего еще живой устной традиции, талантливейшим носителем которой был его близкий приятель Г. Жевуский. Таким образом, оригинальный польский исторический роман непосредственно вырастает из польской фольклорной стихии, используя собственные ей формально-содержательные возможности, которые уже по своей генетической сути были наиболее полным выражением национального духа, до сих пор не поддающегося рациональной дефиниции. В этом суть оригинальности «Воспоминаний Соплицы» при относительной «неоригинальности» автора, который вводит этот жанр в литературу (или: переводит его из литературы устной в литературу письменную, одновременно сам как автор проходя творческую эволюцию от рассказчика до писателя).

Родоначальник исторического повествования-гавэнды (равно как и целого направления в польской прозе и поэзии) «опоздал» с дебютом в письменной литературе. Его опередил сперва Мицкевич, благородно раскрывший имя своего предшественника — «учителя», а затем внезапно «вышедший» из глубины времен простоватый и колоритнейший шляхтич Я. Х. Пасэк, даже не помышлявший о такой литературной карьере. Однако неповторимая индивидуальность Жевуского и его поистине божий дар писателя сразу же принесли ему заслуженную славу.

Вальтер Скотт и его последователи постигали далекое прошлое через штудирование исторических трудов и затем уже на этой основе интуитивно «дорисовывали» фон, колорит, типы и характеры героев. Жевуский, который увлекался архивными изысканиями, воссоздает не дедуктивно реконструированные, а подлинные фон, колорит, типы и характеры. Подлинные, ибо все это сохранила живая традиция, воспоминания очевидцев, а не только ограниченные (в психологическом, характерологическом, языковом, стилевом и т. п. планах) исторические документы. Да и сами конфликты

¹⁵О проблемах оригинальности в контексте общеевропейского и национального литературного развития см. [31].

¹⁶О роли гавэнды в истории древнепольской художественной прозы см. [10. С. 219—231].

(переосмысленные как первоплановые сюжетные линии) в «Воспоминаниях Соплицы» подлинны, равно как и их участники, выступающие как литературные герои. Подлинными являются и язык повествования, стиль, атмосфера. Сам конструктивно основополагающий литературный прием, когда рассказчик является очевидцем и (или) участником описываемых событий, будучи по своим воззрениям, психологии, типу культуры типичным представителем определенной среды определенного времени, обусловил эффект как историчности, так и — в аспекте восприятия — достоверности, убедительности воспроизводимого — убедительности фактографической и психологической. Итак, в отличие от вальтерскоттовского типа романа здесь не оставалось места для литературной фикции. Тем самым в «Воспоминаниях Соплицы» достигается своего рода высший синхронный историзм¹⁷, ставящий их — с точки зрения конфликта, персонажей, их воззрений, психологии, характеров (не говоря уже о сфере фактографии, на которой сюжет основывается и выстраивается) — на один уровень с подлинными историческими событиями, их участниками и отражающими все это документами. Это поднимает шедевр Жевуского до уровня достигнутого идеала, к которому Вальтер Скотт и его последователи только стремились, понимая его недостижимость. Отсюда и их отказ от изображения подлинных исторических деятелей как первоплановых персонажей, отсюда и выдвижение на первый план литературной фикции — любовной интриги и вымышленных героев, которые волей автора лишь соприкасаются с исторически подлинными фигурами. Такая неадекватность истории подлинной и истории романной претила Крашевскому¹⁸, который в те же годы безуспешно пытался создать свой, отличный от вальтерскоттовского образца тип художественно-исторического повествования. Концепция «фламандского зрачка» повествования оказалась бесперспективной: действие распадалось на разрозненные исторические сценки, и, хотя каждая из них в отдельности была достоверной, вместе они не создавали образа истории, ее движущих идей и реализующих их сил¹⁹.

Жевуский, по-видимому, изначально ощущал пределы возможностей созданного им литературного жанра. Его живая натура искала и находила выход в генологически разных (публицистических и романских) типах, к которым он обращался, по-своему реализуя талант художника и романтическую идею писателя-пророка.

Потенциальные возможности формы «Воспоминаний Соплицы» как жанра художественно-исторической прозы были весьма определены и в определенных границах эффективны: она очаровывала национальным колоритом, исторической достоверностью фактов и персонажей, психологической и нравственной проникновенностью в прошлое. Однако при этом сама оценка прошлого, отношение к нему были в соответствии с внутренним законом жанра (где повествование велось от лица простоватого — «сарматского» — шляхтича) ограничены кругозором повествователя. Определенная авторская дистанция Жевуского отнюдь не всегда и не всеми ощущалась и соответственно воспринималась. Отождествление воззрений пана чесника Северина Соплицы с паном графом Генриком Жевуским было свойственно не только широкой читательской публике, но и профессиональным литераторам²⁰.

¹⁷Речь идет о художественном воспроизведении, адекватном воззрениям (идейным, психологическим, стилевым) описываемого времени, а не интерпретации с точки зрения позднейших эпох, каждая из которых по-своему понимала прошлое.

¹⁸Его реакция не была явлением единичным, отражая назревшее в европейской литературной мысли мнение о кризисе исторического романа.

¹⁹Подробнее об этом я пишу в главе «Юзеф Игнаций Крашевский» [32. С. 389—391].
²⁰Так, Клементина Гофманова (урожденная Таньская), прочитав «Воспоминания Соплицы», изрекла: «Если Польша была такой, чего же удивляться, что она подверглась разделам» [33].

«Разумное», «объективное» отношение к художественно воссоздаваемой истории, ее переосмысление с позиций просвещенного человека мог выразить либо сам автор, либо принципиально иной (нежели повествователь в гавэнде) по уровню своей культуры герой-повествователь. Именно это, несмотря на успех «Воспоминаний», способствовало обращению Жевуского к традиционным формам романа. Его «Ноябрь» (1845, русск. перев.— 1873) — оригинальный на европейском фоне опыт синтеза исторического, социального, психологического и приключенческого типов романа, который, однако, не стал шедевром в силу недостаточной гармоничности соединения этих разных начал, а также из-за дидактизма и тенденциозности [25. С. 118—192]. Вместе с тем здесь обозначилась характерная для Жевуского-художника черта: стремление к расширению идейно-познавательных и фабульно-тематических возможностей исторического романа сочеталось у него с эстетически осознанным стремлением к созданию новых его форм. На этом пути важным и до сих пор недооцененным свершением Жевуского являются его «Мемуары Бартломея Михаловского» (1856—1857, русск. перев. фрагментов — 1880). Автор монографии, посвященной историческим романам Жевуского, уделяет этому произведению всего 13 строк. Сопоставляя его с «Воспоминаниями Соплицы», он констатирует: «Теперь в основном исчезли достоинства Жевуского: „Мемуары“ совсем не вносят новые художественные элементы в его творчество» [25. С. 277]. Рассмотрение одного своеобразного произведения как бы сквозь призму достоинств совершенно иного весьма проблематично. Суть-то в том, что Жевуский осознанно отказался от этих «достоинств» в целях реализации нового своего художественного замысла. Если «Воспоминания» были своеобразным разрывом с западноевропейской генологической традицией, то «Мемуары» знаменуют качественно новое к ней обращение.

Жевуский в предисловии уведомляет читателей, что он публикует документ — подлинные записки подлинного лица. Этот старый литературный прием (широко известный в Польше с XVIII в.) здесь не только (и не просто) использован для авторского камуфляжа. Одновременно он функционирует и как своеобразный творческий метод, обретая художественно последовательную реализацию в самом тексте. Это не учитывает З. Швейковский, критическое замечание которого предстает с точки зрения художественного замысла Жевуского и степени его реализации как наивысшая похвала, ибо (вопреки намерениям литературоведа) свидетельствует, что писателю действительно удалось вырваться за рамки пленительного стереотипа «Воспоминаний Соплицы» и создать совершенно иной, новый мир литературной фикции.

Мемуарную форму Жевуский использует не как криптороманную, из-за которой постоянно «выглядывает» сам автор. В «Мемуарах» она утрачивает качества формы достаточно условной и для автора, и для читателя, формы, вовлекающей в романый мир правдоподобия этого самого читателя, который охотно принимает такого рода литературную игру: он сопутствует внутренним переживаниям псевдоавтора псевдомемуаров, мысленно сочувствует ему в его жизненных перипетиях, «забывая», что это всего лишь герой романа, а вся его история — чисто романый вымысел. Жевуский изменяет, обновляет эту исторически сложившуюся литературную условность при сохранении внешних правил игры. Сперва он создает как бы для себя (в своем воображении), но вне текста образ героя, «вживается» в него и уже потом пишет «его» мемуары — так, как написал бы их сам этот герой, причем не как персонаж романа, а реальный современник известных исторических событий (со всеми вытекающими отсюда последствиями для сюжета и стиля повествования). И тут Жевуский проявил себя одновременно как тонкий психолог, великолепный художник и замечательный историк-эрудит. Ни разу зыбкая граница, разделяющая мемуары подлинные и

мемуары как стилизованная разновидность романа, не была здесь нарушена в сторону беллетристики. В этом проявилась оригинальность Жевуского — писателя, создавшего шедевр в формальных рамках известного генологического стереотипа, но по тонкости замысла и мастерству исполнения превзошедшего то, что уже существовало в русле привычной литературной условности. «Мемуары» — явление качественно новое при внешне старой литературной оболочке. О мастерстве автора — художника и историка, убедительно воссоздающего облик человека XVIII в. и его мемуары (отразившие психологию, стиль, характер восприятия и саму фактографическую достоверность), красноречиво свидетельствует русский перевод фрагментов этого произведения, воспринятого журналом «Давняя и новая Россия» (1880) как подлинный документ эпохи. Немногим более ста лет спустя аналогичная история повторилась в Польше (!): «Мемуары Михаловского» фигурируют в качестве исторического источника в томе «Polska zniewolona, 1795—1806», входящем в цикл «Dzieje narodu i państwa polskiego». Такое воздействие литературного произведения на историков-профессионалов само по себе настолько красноречиво, что снимает необходимость как историографических комментариев, так и литературоведческих выводов относительно достижения идеала историзма, документальности и художественности в этой созданной Жевуским внутрижанровой разновидности исторического романа.

«Каждый писатель, независимый и оригинальный, творит в романе новую форму» [34], — писал Крашевский еще в начале своего творческого пути. Ближе к его концу — в 70-е годы, когда в европейской литературной критике много говорилось о кризисе исторического романа, — он создает свой тип этого жанра («Графиня Козель», 1873; «Брюль», 1874; «Из семилетней войны», 1875; «Варшавский староста», 1876; «Грамота Флемминга», 1878). По своему сюжетно-композиционному принципу это была успешная реализация того, что не удалось Жевускому в «Ноябре». С точки зрения фабулы, здесь, в отличие от вальтерскоттовского типа романа, на первом плане видны политические деятели, а главной пружиной действия являются их отношения и связанные с их деятельностью исторические события, составляющие идейный, философский, нравственный и психологический облик эпохи ²¹.

Новые типы исторического романа, представленные шедеврами Жевуского и Крашевского, стали основой той традиции, из которой вырастает польский исторический роман от времен позитивизма до наших дней. Их воздействие на другие литературы — прямое (благодаря переводам) и опосредованное (благодаря, например, общеевропейскому признанию нобелевского лауреата Г. Сенкевича) еще недостаточно изучено. Сравнительно-литературное и типологическое рассмотрение произведений Жевуского и Крашевского в общеевропейском контексте поможет — с одной стороны, осознать их значение как факторов эволюции исторического романа в европейской литературе, а с другой — глубже уяснить их национальное своеобразие и степень новаторства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. У истоков формирования наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1984.
2. Формирование национальных культур в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1977.
3. Освободительное движение народов Австрийской империи. Зарождение и развитие. Конец XVIII — 1849 г. М., 1980.
4. Польша на путях развития и утверждения капитализма. Конец XVIII — 60-е годы XIX в. М., 1984.

²¹Подробный анализ этой разновидности исторического романа в рамках творческой эволюции Крашевского рассмотрен мною в [32. С. 382—417].

5. Литература эпохи формирования наций. М., 1982.
6. Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. М., 1965.
7. История русского романа. М., 1962. Т. I.
8. *Липатов А. В.* Предромантизм на Западе и в Польше XVIII в. (Опыт дефиниции и сопоставления)//Польский романтизм и восточнославянские литературы. М., 1973.
9. *Липатов А. В.* У истоков польского предромантизма (Национальное и общеевропейское)//Славянские литературы. VII Международный съезд славистов. М., 1973.
10. *Липатов А. В.* Формирование польского романа и европейская литература. Средневековье, Возрождение, барокко. М., 1977.
11. *Липатов А. В.* Возникновение польского просветительского романа. Проблемы национального и общеевропейского. М., 1974.
12. *Липатов А. В.* Славянские литературы и общеевропейский литературный процесс эпохи Средневековья//Советское славяноведение. 1978. № 4.
13. *Липатов А. В.* Древнеславянские письменности и общеевропейский литературный процесс//Барокко в славянских культурах. М., 1982.
14. *Липатов А. В.* Проблемы общей истории славянских литератур от Средневековья до середины XIX в.//Славянские литературы в процессе становления и развития. М., 1987.
15. *Łossowska J.* Michał Dymitr Krajewski. Warszawa, 1980.
16. *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. М., 1949. Т. XII.
17. *Бестужев-Марлинский А. А.* Соч. М., 1958. Т. 2. С. 594.
18. *Astrea*, 1823. Т. IV. S. 6; *Biblioteka Polska*, 1826. Т. I. S. 110—111.
19. *Żmigrodzka M.* Karmazyn, palestrant i wiek XIX//*Rzewuski H.* Pamiętki Soplicy. Warszawa, 1961. S. 11—12.
20. *Janion M.* Zygmunt Krasiński. Debiut i dojrzałość. Warszawa, 1962. S. 51—52.
21. *Inglot M.* Poglądy literackie koterii petersburskiej w latach 1841—1843. Wrocław, 1961. S. 75—76.
22. *Janion M., Żmigrodzka M.* Romantyzm i historia. Warszawa, 1978. S. 50.
23. *Falkowski J.* Wspomnienia z roku 1848 i 1849. Warszawa, 1908.
24. *Baworowski W.* Jak powstały pamiętniki Seweryna Soplicy. Czcz. 1866. № 67.
25. *Szwejkowski Z.* Powieści historyczne Henryka Rzewuskiego. Warszawa, 1922.
26. *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч. СПб., Т. VIII. С. 262.
27. *Polityka*. № 5. 1988. S. 14.
28. *Ślisz A.* Henryk Rzewuski. Życie i poglądy. Warszawa, 1986.
29. Общественные науки за рубежом. Серия 7, Литературоведение. 1988. № 4.
30. *Липатов А. В.* «Господь сотворил тебя писателем»//Советское славяноведение. 1989. № 5. С. 85—87.
31. *Липатов А. В.* Критерии оригинальности и литературные связи//Литературные связи и литературный процесс. М., 1986. С. 165—189.
32. История польской литературы. М., 1968. Т. I.
33. *Tarnowski S.* Henryk Rzewuski. Lwów, 1887. S. 19.
34. Książka jubileuszowa dla uczczenia pięćdziesięcioletniej działalności literackiej J. J. Kraszewskiego. Warszawa, 1880. S. 191.



ЗЛЫДНЕВ В. И.

У ИСТОКОВ БОЛГАРСКОГО ТЕАТРА

С какого времени следует вести летоисчисление болгарского театра? На первый взгляд вопрос покажется праздным: ведь ряд авторитетных болгарских театроведов называют совершенно определенно датой рождения болгарского театра год 1856 и связывают это с первыми любительскими представлениями в городах Шумене и Ломе. В последние годы, однако, все чаще высказывается и другая точка зрения. Ее сторонники ведут начало болгарского театра со времени средневековья и связывают это с богомилскими обрядами, с игрищами кукуеров (болгарских ряженных), с некоторыми народными празднествами, в которых содержатся театрализованные действия. Известный болгарский историк и фольклорист Х. Вакарельский еще в середине 40-х годов назвал театральные празднества кукуеров в Болгарии «театром» [1]. Видный болгарский театровед и литературовед С. Каракостов издал книгу о болгарском театре средневековья, Ренессанса и Просвещения [2], в которой по аналогии с историей западного театра дал периодизацию болгарских театрализованных представлений, рассматривая их в качестве реально существовавшего театра. Некоторые молодые театроведы восприняли эти суждения и стали усиленно выискивать элементы средневекового театра в болгарском театре XIX в. [3].

Нам такая концепция представляется искусственной и не находящей достаточно убедительного подтверждения, а в какой-то степени и принижающей роль конкретных и важных социально-исторических и культурных факторов в эпоху национального возрождения. Концепция Х. Вакарельского вызывает в последнее время справедливые, с нашей точки зрения, возражения болгарских искусствоведов. Так, Е. Иванова полагает, что кукуерские игры, как всякий праздник, бесспорно содержат театральные элементы. Но несмотря на утверждения Вакарельского, Каракостова и других, будто кукуерские игры необходимо причислить целиком к театральным зрелищным сферам, она считает их преувеличенными [4]. С этим следует согласиться, а потому 1856 г. остается началом истории болгарского театра, знаменательной датой, открывающей важную страницу в истории болгарской культуры.

Какие же конкретные факты лежат в основе принятой даты? Прежде всего — первые постановки любительских коллективов школьных театров. 15 августа 1856 г. в г. Шумене силами местной молодежи под руководством С. Доброплодного — видного просветителя и учителя шуменской прогимназии — была осуществлена постановка комедии «Михал», представляющей

Злыднев Виталий Иванович — д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН.

собой переработку (болгаризацию) пьесы сербского комедиографа Й. С. Поповича. Участниками ее были учителя, а впоследствии видные деятели болгарской культуры — В. Друмев, Д. Войников, В. Стоянов и др. Важную роль в постановке спектакля сыграл и учитель, чех по национальности, Й. Майзнер (Миланович). По свидетельству С. Доброплодного — автора болгаризованной комедии, — «представление получилось очень удачным, с рукоплесканиями. Это было первое театральное представление в Болгарии 1856 г.» [5].

В том же году, 12 декабря, в г. Ломе состоялся первый спектакль «Многострадальной Геновевы» (у К. Н. Державина — «Многострадальная Женеьева» [6]), представляющий собой переработку сентиментального романа немецкого писателя К. Шмидта. Осуществил постановку местный учитель К. Пишурка, а участниками ее была молодежь, группировавшаяся вокруг недавно созданной ломской библиотеки-читальни.

Не случайно первые театральные представления состоялись в Шумене и Ломе. Шумен в середине прошлого века пользовался репутацией важного торгового и культурного центра Болгарии. Шуменские торговцы активно общались со своими партнерами не только в Османской империи, но и на Западе. Они привносили в родной город нравы и моды иноземных культурных центров. Кроме того, здесь после подавления европейской революции 1848 г. поселились около двух тысяч эмигрантов из Венгрии, Польши и Чехии. Они внесли определенное оживление в общественную и культурную жизнь шуменцев. Венгерский музыкант М. Шафран организовал здесь первый в Болгарии профессиональный оркестр, в состав которого входила в основном учащаяся молодежь. Й. Майзнер, как мы уже отмечали, содействовал театральным постановкам. Известно также, что выдающийся деятель венгерского национально-освободительного движения Л. Кошут был в дружеских отношениях с С. Доброплодным. Все эти обстоятельства создавали благоприятную обстановку для местной культурной жизни. Лом также был важным торговым центром — портом на Дунае — и представлял собой «окно» для торговли местных купцов с Западом. Следует при этом отметить, что в Шумене и Ломе известные болгарские просветители были учителями, и поэтому не случайно здесь возникли первые болгарские читальни — своеобразные просветительские центры, которые способствовали поднятию общей культуры, появлению культурной самодеятельности.

Разумеется, организация первых представлений — собственно спектаклей или даже разыгрывание диалогов — проходила в примитивной обстановке. Непосредственный свидетель таких «действ», поставленных под руководством Д. Войникова, известный учитель и писатель И. Блысков в 1895 г. вспоминал об одном из таких представлений в Шумене: «Представьте себе старый дом (в нем помещалось училище для девушек. — В. З.), который вмещает едва 100—150 человек, прижатых друг к другу, с несколькими сальными свечами на подоконниках — это *театральный салон*; в середине на свободном месте, окруженном собравшейся публикой, разостланы две рогожки — это и есть *сцена*. Каждый с напряженным вниманием смотрит, чтобы увидеть, услышать нечто необыкновенное, о чем он мог слышать, но не видел. Посреди общей тишины и любопытства вдруг в одной из комнат при раскрытых окнах загремел ученический оркестр. И каково же было восхищение присутствующих почти иступленных слушателей!» [7]. После исполнения марша, на импровизированную сцену выходят два актера, одетые в крестьянскую одежду. Один из них представляет полуугауза, огреченного крестьянина, у которого на десять турецких слов приходится два греческих и создается уродливый турецко-греческий язык, однако он укоряет якобы тупоголового болгарина. А другой гордится болгарским происхождением, осмеивает противника и под радостные возгласы зрителей побеждает его. Завершается действие коллективным исполнением популяр-

ных в то время песен. Это характерный пример разыгрывания диалогов в школе при окончании учебного года.

Постановка «Многострадальной Геновевы» знаменует новый шаг в школьном театре, и пользовалась она успехом в разных болгарских городках в 60—70-е годы. Крупный писатель и активный участник болгарского национально-освободительного движения З. Стоянов рассказывает в книге «Записки о болгарских восстаниях» (1884): «Сильным толчком для нашего самосознания послужили и театральные представления. У нас на родине любительские спектакли получили распространение, если не ошибаюсь, с 1868 г. Первой поставили на сцене „Многострадальную Геновеву“. Бедная Геновева! Сколько невинных слез пролилось из-за нее; сколько вечеров после спектакля служила она темой разговоров. После „Многострадальной Геновевы“ были поставлены драмы покойного Д. Войникова, В. Друмевца, „Похищенная Станка“ Блыскова и другие» [8].

О популярности «Многострадальной Геновевы» на любительских сценах разных сел и городков и о непосредственности восприятия первых театральных постановок живо и образно рассказал И. Вазов в романе «Под игом» (1890): спектакль завершался добродетельной веселой песней, но актеры добавили от себя, проявили нечто неожиданное — они запели слова революционной патриотической песни, которую постепенно подхватила вся труппа, а затем и зрители, и создалось всеобщее патриотическое воодушевление. «Это было, — пишет Вазов, — как гром среди ясного неба... Патриотический энтузиазм внезапно овладел всеми. Мужественная мелодия этой песни возникла как невидимая волна, выросла, залила весь зал, разлилась по двору и ушла в ночь... Звеня в воздухе, песня зажигала сердца и опьяняла головы. Ее торжествующие звуки затронули в людях какие-то новые струны. Пели все, кто знал слова, — и мужчины и женщины; сцена слилась со зрительным залом, души объединялись в общем порыве, и песня поднималась к небу, как молитва...» [9].

Как можно судить по различным свидетельствам современников, по заметкам в болгарской периодической печати, со второй половины 50-х годов XIX в. интерес широких кругов болгарской общечественности к театру все время нарастал, любительские спектакли возникали в разных городках и селах в самой Болгарии, и за ее пределами — в Румынии силами болгарских эмигрантов и в Константинополе. В печати тех лет появлялись не только информации о спектаклях, но и оценки их с содержательной и художественной стороны, что вело к появлению элементов театральной критики и содействовало развитию национальной драматургии. В этом процессе принимали участие деятели болгарского просвещения и культуры, но наиболее весомый вклад в становление любительского театра в Болгарии, безусловно, внес Д. Войников. Он был типичной возрожденческой личностью с широкими интересами и разносторонней одаренностью. Он оставил заметный след как педагог и автор учебных пособий, известных в свое время, внес вклад в публицистику, в национальную драматургию, был театральным критиком и организатором театральной труппы, проявил себя как сценограф, постановщик ряда оригинальных спектаклей, вошедших в историю болгарского театра. Именно поэтому его по праву называют «отцом болгарского театра».

О Д. Войникове у нас мало известно. Лишь в двух работах — К. Н. Державина «Болгарский театр» [6] и М. Брадистиловой «Болгарский театр 60—70-х гг. XIX в. и национально-освободительное движение» [10] — ему дана краткая характеристика. В специальной литературе в Болгарии Войникову посвящены научно-популярные очерки и исследовательские статьи, характеризующие разные стороны его общественно-культурной жизни и театральной деятельности. При этом следует отметить вклад как литературоведов, так и театроведов, специально занимавшихся его творчеством (см. [11—16]).

Мы ставим своей задачей, используя материалы специальной литературы и опираясь на последние работы и наследие Д. Войникова, охарактеризовать путь становления его как драматурга, публициста и основателя болгарского любительского театра 50—70-х годов в контексте историко-культурного развития болгарского общества на завершающем этапе национального возрождения.

Добри Попов Войников родился в 1833 г. в г. Шумене, давшем болгарской культуре таких видных возрожденцев как писатель и церковный деятель В. Друмев, как один из основателей Брайльского книжного общества В. Стоянов. В середине прошлого столетия местная начальная школа была преобразована в прогимназию, пользовалась хорошей репутацией у болгарской общественности, так как здесь преподавали известные учителя и просветители — С. Доброплодный, И. Богоров, С. Филаретов, И. Блысков. Им принадлежит заслуга не только в создании болгарских учебников, пробуждении у учащихся интереса к отечественной истории, родному языку, литературе и культуре, но и в создании силами учащихся культурной самодеятельности.

Окончив шуменскую прогимназию, Д. Войников, по рекомендации С. Доброплодного, уезжает в 1855 г. в Константинополь, где поступает во французский колледж в Бебеке, находившийся в то время на окраине Османской столицы. Здесь он овладел французским языком, приобщился к чтению французской литературы, проявляя особый интерес к драматургии Мольера, воздействие которого позднее сказалось на его творчестве. Кроме того, в колледже Войников приобрел элементарные познания в инструментальной музыке, проявив определенное дарование как будущий композитор и дирижер созданного им болгарского оркестра учащихся.

По возвращении в Шумен в 1858 г. Войников учительствует в прогимназии, а с 1859 г. становится ее директором и руководит ею до осени 1864 г. В свидетельстве, выданном Д. Войникову шуменской общиной в марте 1864 г., говорится, что он «исполнял точно и с большим прилежанием свою учительскую должность, сиречь трудился с отличной ревностью и старанием в преподавании в высшем нашем училище наук как географии, арифметики, части алгебры, геометрии, физики, логики и языка, как славянского, французского и новогреческого доверенным ему ученикам» [17. С. 308]. Известностью пользовались его учебные пособия: «Краткий катехизис для начальных школ» (Царьград, 1859), «Сборник разных сочинений» (Царьград, 1859), «Краткая болгарская история» (Вена, 1861). Он преподавал учащимся основы и музыкальной культуры, организовал молодежный оркестр, осуществил несколько театральных постановок на основе сочиненных им диалогов, а позже пьес.

Надо заметить, что диалоги были своеобразным жанром литературы в Болгарии, появившимся еще в 40-е годы и получившим распространение в 50—70-е годы. Среди учителей и учащихся были известны диалоги Н. Бозвели, П. Р. Славейкова, Г. Раковского, Х. Ботева и др. [18]. В этом же жанре в конце 50-х — начале 60-х годов выступал и Д. Войников. Ему принадлежат диалоги: «Разговор двух учеников Славы и Димитра о болгарской народности», «Разговор трех учеников: Бояна, Мирчо и Драгана об учении юных болгар в народной школе», «Разговор трех учеников об учебе» и др. По содержанию диалоги носили нравственно-дидактический характер, прививая учащимся интерес к знаниям, пробуждая у них чувство патриотизма, способствуя их общему развитию. По своей структуре диалоги явились начальными элементами драматургического действия, раскрывали нередко комедийную ситуацию. Как правило, они ставились в школах в конце учебного года и их «разыгрывание» носило торжественно-театральный характер, привлекая внимание не только учеников, но и родителей, местных

жителей. Успеху постановок диалогов, осуществлявшихся Д. Войниковым, способствовало введение песен и музыкальных элементов в театрализованные представления.

Однако национально-патриотическая деятельность Д. Войникова вызывала в то же время большие опасения консервативных кругов шуменской знати, усмотревших в его представлениях подрыв патриархальных традиций и основ турецкой власти, что привело к острому конфликту с ними директора прогимназии. В этих обстоятельствах Д. Войников вынужден был покинуть Шумен и эмигрировать из Болгарии. Его дальнейшая педагогическая, общественно-литературная и культурная деятельность протекала по большей части в Румынии.

После кратковременного пребывания в бессарабском городе Болграде, где была болгарская школа, Д. Войников переехал в румынский г. Браила, центр демократической и радикальной болгарской эмиграции. В городе, по свидетельствам болгарских историков, в то время проживало около тысячи болгарских семейств — ремесленников и торговцев. Здесь хорошо помнили о недавней революционной деятельности Г. Раковского, в 1869 г. в городе было основано Болгарское книжное общество, ставившее своей задачей развитие болгарской науки, идей просвещения и послужившее первоосновой будущей Болгарской академии наук. Для осуществления поставленных целей было предпринято первое научное и общественно-литературное издание «Периодическо списание». Идейными вдохновителями и организаторами этого солидного предприятия были М. Дринов, В. Друмев и В. Стоянов. В Браиле начинали свою литературную деятельность Х. Ботев и И. Вазов. Здесь формировались отряды добровольцев, которые составляли чету для вооруженной борьбы против турецких поработителей. Многогранная жизнь этих хэшей-добровольцев, мечтавших о свободе своей родины, красочно описана И. Вазовым в повести «Отверженные». Здесь же Д. Войников начинал свою деятельность сначала как учитель, а затем как директор местной болгарской школы. В Браиле Войников нашел благодатную почву для разносторонней общественно-литературной и культурной деятельности. Для учащихся он издает «Краткую болгарскую грамматику с упражнениями» (1864), пользовавшуюся популярностью в школах эмигрантов. В литературных кругах Войникова воспринимали и как поэта, хотя стихи его, появившиеся в периодических изданиях, не обладали высокими художественными достоинствами. В его лице видели и почитателя болгарской народной поэзии, издавшего сборник «Песни любовные, хороводные, свадебные и смешные» (1868).

В эмиграции широкой известностью пользовалась основанная Войниковым газета «Дунавска зора» (1867—1870). Это был орган «вольных болгар», как назвал ее издатель уже в первом своем номере. В программной статье говорилось, что газета «будет сражаться, станет языком боли и страданий нашего угнетенного народа, его справедливым жалом, выразит его законные стремления к правде». Газета, действительно, пользовалась популярностью в среде эмигрантов и распространялась в самой Болгарии через библиотеки-читальни, школы, частных лиц. Она привлекала внимание читателей разнообразным содержанием, но особенно сообщениями о тяжелом положении болгар, о героической борьбе за свободу четников и болгарского духовенства — за независимую церковь. Кроме того, газета давала широкую информацию о болгарском просвещении, культуре, о новых изданиях. Сам издатель выступал на страницах газеты как автор стихотворений, фельетонов, диалогов, публицистических и литературно-критических статей. В газете сотрудничали видные деятели культуры — В. Друмев, П. Берон, Т. Икономов, Р. Блысков и др. Здесь же впервые появилось стихотворение Х. Ботева «К брату», а его автор сотрудничал в редакции в качестве корректора.

По своей идеологической направленности «Дунавска зора», особенно в первой половине своего существования была близка революционным взглядам Г. Раковского — этого рыцаря болгарских чет и гайдуков. В августе 1868 г. Войников в одной из своих статей назвал XIX в. «великим веком», когда народы обретают свою независимость. Из этого он делал вывод, что болгары тоже должны идти к свободе через самоотверженную борьбу: «Самый практический ответ мы находим сегодня на Балканах. *Бунт, бунт* и снова *бунт* народный. Только через бунт наши соседи, братья сербы и греки смогли добыть себе свободу и независимость. Так и мы, болгары, только через бунт сможем разбить цепи рабства, сбросить проклятое иго азиатского тирана и приобрести для себя свободу, самостоятельность и независимость» [17. С. 269—270].

Однако следует отметить, что к третьему году издания в газете явно ослабели революционные идеи, и она стала больше походить на общедемократические издания типа константинопольских газет «Цариградски вестник» или «Македония». Не случайно издатель ее в 1869 г. сближается не с бухарестским кругом болгарских революционных демократов, а с браильской группой.

Самым значительным вкладом Д. Войникова в обогащение отечественной культуры явилась его деятельность как организатора болгарской театральной труппы в Браиле, как болгарского драматурга, закладывавшего основы национальной драматургии, как постановщика спектаклей на любительской и профессиональной румынской сцене. В нем естественно уживалось дарование воспитателя-учителя с дарованием театрального деятеля в самом широком смысле — начиная от создания диалогов, пьес и кончая постановкой спектаклей и основанием полупрофессиональной театральной труппы. Еще в Шумене он пишет и ставит в школе диалоги, комедию Мольера «Лекарь поневоле», причем не обычный перевод, а адаптированный текст, приспособленный к местным условиям (французские имена персонажей заменены болгарскими, сцены сокращены, в отдельных случаях текст упрощен). В болгарской критике возник даже спор — являлась ли в данном случае пьеса оригинальным произведением Войникова или переводом. Таковы были ростки будущей драматургии Войникова и начальные шаги его как постановщика.

В Румынии Войников имел возможность познакомиться и с иностранным опытом, на который он мог опереться. Речь идет в первую очередь об общении с румынскими артистами в Браиле и Бухаресте, ознакомлении с постановками румынского театра, в частности, существовавшего с 1852 г. Национального театра в Бухаресте. Этот театр был самым непосредственным образом связан с подъемом общественной жизни в стране и со становлением национальной литературы. Воспитательная и общественная функция такого театра были близки Войникову, так как становление болгарского театра протекало в сходных условиях подъема просвещения и национального самосознания.

В румынском театре конца 50-х — начале 60-х годов, как отмечают театроведы, господствовал классицизм и романтизм, что проявлялось в постановках спектаклей, в отборе переводных пьес и в оригинальных драмах В. Александру, написанных в романтическом духе [14. С. 127—128; 15, № 11. С. 49]. С ними Войников был хорошо знаком и даже стремился следовать той же традиции. По примеру бухарестского «Филармонического общества», популяризовавшего музыку и литературу, а также готовившего молодых артистов для румынского театра, Д. Войников в 1864 г. основал «Болгарское театральное общество», объединявшее не только учащихся болгарской школы, но и других граждан. Круг почитателей болгарского любительского театра расширялся. Определенным новшеством было при-

влечение к любительскому театру болгарских девушек — некоторые из них впоследствии получили признание у болгарских зрителей.

Ближайшей задачей общества стала подготовка спектакля по пьесе Войникова «Стоян Воевода после падения болгарского царства. Трагикомическое представление в 3-х действиях» (впервые опубликована в Бухаресте за подписью Х. Д. в 1866 г.). Своей целью он ставил пробуждение национального самосознания у эмигрантов в Браиле и оказание материальной помощи болгарской школе. К первому представлению Войников готовился тщательно, уделив большое внимание репетициям и созданию доброжелательного отношения в среде браильских болгар. На репетицию приглашалась известная румынская артистка Фани Тардини, которая одобрила игру молодых исполнителей и дала им рекомендации. Кроме того, на генеральную репетицию были приглашены влиятельные горожане.

Торжественное представление «Стояна Воеводы» состоялось 29 января 1866 г. в румынском театральном салоне Рале и прошло с большим успехом, несмотря на сдержанное отношение местной болгарской знати. Игра молодых артистов увлекла зрителей, а Войникова сердечно поздравила Ф. Тардини; общая атмосфера в зрительном зале была проникнута патриотизмом, гордостью за свою историю, за родной язык, впервые звучавший с театральной сцены. Сентиментально-романтическая драма, в которой была представлена трагическая участь дочери болгарского царя и самоотверженная борьба воеводы за честь болгарки, особенно волнующе была воспринята болгарскими четниками, участниками боевых походов против турок. Старый гайдук Странджа, по воспоминаниям современников, переживал события на сцене как подлинную историю. Потрясая револьвером, он подбежал к сцене: «Как посмел этот злодей поднять руку на нашу царевну!» — кричал он на весь зал, готовый вскочить на сцену и выстрелить в Зинан пашу. Его хватают за руки, пытаются объяснить, что все это было 500 лет назад. Странджу едва удается успокоить» (цит. по: [10. С. 244]).

Положительное воздействие спектакль оказал и на учащихся, которые на следующий день в школьном дворе разговаривали не как обычно на румынском, а на болгарском языке. Румынская газета «Голос Румынии», издававшаяся на французском языке, летом 1866 г. писала об инициативе молодых болгар: «Ставя национальную историю на сцене, они пробудили героические традиции Отечества, что означает, что это хорошее и благородное дело. В момент, когда подымается большая проблема национальности, сегодня, более, чем когда-либо, не думаете ли вы, что это знамение времени с его пламенной поэзией, непознанной, но исполненной сильных чувств?» (цит. по: [14. С. 131]). Большой интерес к нарождающемуся болгарскому театру проявлял в последние месяцы жизни корифей национально-освободительной борьбы болгар Г. Раковский. Пьеса «Стоян Воевода» была переведена на румынский язык, а постановка ее состоялась на румынской сцене в Гюргево четыре года спустя. Так выявилась творческая связь двух национальных театров.

Постановка «Стояна Воеводы» в Браиле 29 января 1866 г. стала днем отсчета истории болгарского любительского театра и началом утверждения болгарской национальной драматургии. Это был уже не школьный театр с его учебно-воспитательными функциями, а театр общественный, ставивший своей задачей национально-патриотическое воспитание широких кругов болгарских зрителей. Молодая любительская труппа набиралась театрального опыта, а сам театр становился, как и мечтал Д. Войников, школой общественного вкуса и воспитания.

Первый успех болгарского спектакля вдохновил постановщика на написание новых пьес из болгарской жизни. Следующей пьесой Войникова, имевшей успех у болгарских и румынских зрителей, стала «Райна княгиня» (1866), представлявшая собой драматизацию повести русского писателя

А. Ф. Вельмана «Райна, королева болгарская» (1843). Автор ее был достаточно известен в русских литературных кругах того времени. Неоднократно о нем писал В. Г. Белинский, считая его талантливым романистом, отмечая в то же время неумение писателя дать цельную картину изображаемой жизни и критикуя его за обилие таинственных и фантастических сцен. В его исторических произведениях Белинский отмечал живо выписанные сцены, народный дух. В обзоре «Русская литература в 1843 г.» В. Белинский писал: «„Райна, королева болгарская“ — не повесть, а фантазмагория, подобно всем произведениям г. Вельмана. Действующие лица говорят в ней двумя манерами: то языком, совершенно понятным для нас, но отличающимся колоритом древнеболгарским, то языком романов нашего времени. Один из главных героев фантазмагории — русский князь Святослав, которого г. Вельман рисует нам так обстоятельно, как будто он сам жил в его время и все видел своими глазами. Удивительное всего в этой повести, что местами она не лишена интереса» [19].

Повесть эта имела большой успех: в 1852 г. она дважды вышла на болгарском языке — в Петербурге в переводе Е. Мутевой, а в Белграде в переводе просветителя Й. Груева. Перевод Мутевой был переиздан в 1856 г. в Одессе, а после национального освобождения Болгарии он выдержал еще четыре издания. Перевод Груева вторично вышел в 1866 г. в Вене. Поэтому не случайно Б. Пенев считал, что «этот исторический роман имел много читателей у нас до освобождения — это была одна из любимых книг тогдашних читателей» [11. С. 794]. Такой успех связан с одной стороны — с воскрешением славных традиций болгарской истории, а с другой — с утверждением дружеских болгаро-русских отношений.

Популярности повести способствовали и распространявшиеся в то время рисунки и литографии талантливого художника Н. Павловича, созданные в Белграде в 1860 г. — «Встреча русского князя Святослава с княгиней Райной и ее братьями» и «Райна в пещере». В том же году в Одессе Павлович продолжил работу над литографиями на сюжет повести («Встреча Святослава и Цимиския у Доростола»). Во втором издании пьесы «Райна княгиня» (1875) Войников на обложке указал: «Приложение из 6 картин». Речь шла о двух одесских и четырех новых литографиях Павловича, выполненных в 1873—1874 гг. Так складывалось содружество драматурга-постановщика и художника, что имело важное значение для болгарских театральных постановок.

Как отмечают исследователи пьесы, выдержанной преимущественно в сентиментально-романтическом духе, Войников использовал и опыт А. Пушкина-драматурга в раскрытии народной точки зрения на придворные события, что нашло отражение в песне Гуслыра об убийстве царя Петра. Выразителями народного мнения в пьесе выступают также болгарин Влад и старый дворянин монах Обрен. Они как бы от имени народа утверждают идею справедливости болгарского царства и независимости.

Мы располагаем скудными сведениями о характере постановок этой драмы. Известно, что «Райна княгиня» также пользовалась успехом местных зрителей в постановке браильской труппы и в Бухаресте. «Голос Румынии» в 1866 г. писал: «Группа молодых болгар из Браилы играла вчера на болгарском языке в Большом бухарестском театре историческую драму, озаглавленную „Райна княгиня“» (цит. по: [14. С. 137]). Спустя два года участник освободительного движения А. Савич, находившийся в Браиле в качестве Австро-Венгерского консула, писал: «Благодаря неустанному усердию г. Войникова и благородному поощрению большинства наших уважаемых сограждан... и, наконец, благодаря содействию наших собратьев румын, которых мы благодарим публично, Болгарский театр смог представить, во-первых, „Стояна Воеводу“, а во-вторых, „Райну княгиню“. При том,

что ставились впервые, публика осталась довольной, так что по ее желанию они игрались второй и третий раз» [14. С. 138].

О характере постановки «Райны княгини» мы можем судить и по другому свидетельству современника. Учитель габровской гимназии 70-х годов Р. М. Королев вспоминает, что «впечатление от спектакля „Райна княгиня“ было потрясающим. Как только поднялся занавес и на хорошо освещенной сцене, которая представляла царский дворец со стражей у дверей, в позолоченных шлехах, со щитами и колющими, зрители увидели на престоле царя Петра в царском облачении из сукна и расшитого золотом бархата, со скипетром в руке, с украшенной драгоценными камнями короной на голове, с красными сапогами на ногах, они застыли на своих местах от удивления. Можно было ясно видеть их душевное волнение и переживание» (цит. по: [6. С. 61]).

Благодаря костюмам, использованным в постановке, литографиям Н. Павловича, воскрешавшим историческое прошлое, создавалась полная иллюзия присутствия зрителя в далеком прошлом.

Для понимания хода действия в спектакле важное значение приобретают авторские ремарки, поясняющие, как Сурсовул убивает Влада, как слышится звон колоколов, как герои плачут, когда и как поет гуслиар, как музыка сопровождает сражение, как ведут себя на сцене различные персонажи в зависимости от их роли в данном действии, как выглядит царский престол и, наконец, как тяжелым поражением Святослава и его войска завершается драма. Все эти ремарки направлены на то, чтобы побудить актеров действовать на сцене в соответствии с обстановкой, создать в наибольшей степени убедительную ситуацию, а в некоторых случаях через немые сцены дополнить содержание спектакля. В результате этого достигается большое правдоподобие и сценический эффект.

Д. Войников продолжал свою деятельность как драматург и постановщик до конца своей жизни (1878), т. е. без малого полтора десятилетия. Это было время больших и бурных политических событий, значительных перемен в общественно-культурной жизни болгарского общества, что оказывало влияние на Д. Войникова, как и уровень национального и художественного сознания зрителей, и отношение к нему литературной и театральной (насколько возможно применить этот термин к тому времени) критики, которая не всегда его жаловала и была довольно суровой. К тому же нельзя представить всю его деятельность как нечто неизменное и застывшее по своему содержанию и художественному выражению. Изменения происходили по мере накопления творческого опыта молодой труппой и самим постановщиком. Первые две пьесы ставились только мужским составом артистов. В первых постановках Войников использовал музыку в антракте, и она больше выполняла развлекательную функцию, позже музыкальный элемент вводится в спектакль, усиливая эмоциональное воздействие на зрителя, обогащая спектакль в целом. Все шире вводятся и картины, литографии, воссоздающие историческую обстановку. О первом спектакле «Крещение Преславского двора» (начиная с постановки этой пьесы по примеру румынского театра впервые появляются на сцене болгарские актрисы), состоявшемся в Браиле в мае 1868 г. и воскрешающем образы первых славянских просветителей Кирилла и Мефодия, газета «Дунавска зора» сообщала, что это «драма историческая в четырех действиях с пением и восемью зрелищными табло (картинами.— В. З.), сочинена и поставлена на сцене Д. П. Войниковым» (см. [14. С. 142]). Участниками первых постановок войниковской труппы, выступавшей в Браиле и Бухаресте, были учащиеся браильской гимназии и болгарские эмигранты — деятели национально-освободительного движения, жившие в Браиле. Известно, что в их числе были такие видные болгарские деятели, как И. Тодоров, К. Каблешнов,

Х. Ботев. Свидетельства об их участии в спектаклях труппы сохранились в воспоминаниях и письмах болгар той поры.

Кроме названных пьес, Д. Войникову принадлежат также исторические драмы «Велислава, болгарская княгиня» (1870) и «Воцарение Крума Страшного» (1871). Первая из них воссоздает борьбу болгар против татар в XIII в. при царе Георгии Тертере, вторая посвящена царю Круму как объединителю болгарских земель в IX в. О постановках этих пьес на любительской сцене данных сохранилось меньше, но известно, что «Велиславу» Войников ставил по приглашению болгарских эмигрантов в Галаце, и был в это время приглашен в Бухарест для постановки своих пьес на столичной сцене.

В 70-е годы Войников обратился и к жанру комедии, подвергнув критике некоторые болгарские нравы. В 1871 г. в Бухаресте появилась комедия «Плохо понятая цивилизация», представляющая собой драматизацию фельетона Г. Раковского «Обращение турка в европейца» («Поевропейчване на турчина», 1876) и обработку мольеровской комедии «Лскарь поневоле». «Плохо понятая цивилизация» успешно ставилась тогда и сохранила свое значение сейчас, будучи несколько модернизированной для современного театра. Пороки, выставленные на осмеяние Войниковым в прошлом столетии, еще живы и сегодня, поэтому комедия остается актуальной и в наши дни.

В предисловии к пьесе в 1871 г. об одном из персонажей Войников писал: «В лице доктора Маргариди я хотел представить апостола мнимой цивилизации, который пленяет слабые умы девицы Анки и ее матери Златы, слепых подражателей моды» [17. С. 91—92]. Комедия ставит своей целью осмеять внешнее подражание европейским нравам, современной моде. Объекты этого осмеяния в Болгарии были оторваны от самобытной национальной культуры или вообще ею не овладели, не усвоив к тому же по существу культуру европейскую. Они стараются говорить по-французски, не зная этого языка, пользуются в своей речи иностранными словами, разрушая свой литературный язык, стремятся одеваться по-европейски, но выглядят уродливо или комично, пренебрегают собственными традициями и обычаями и не овладели подлинной культурой поведения.

В духе классицизма в этой комедии, как и в исторических драмах, автор делил своих персонажей на явно положительных и абсолютно отрицательных. Комедийная ситуация вытекала из несоответствия поведения и суждения здравому смыслу. Поборники внешней, а точнее мнимой цивилизации оказывались посрамленными. Носителями здоровых нравственных начал и добрых традиций выступали отец хаджи Коста, бабушка Стойка, влюбленный в Анку юноша Митю, подруга Анки Мария, а слепыми подражателями чужих нравов, гоняющимися за модой предстают доктор Маргариди, дочь Косты Анка и ее мать. Последние оказываются посрамленными во всех отношениях, а чтобы наказать пороки автор вводит сцену дуэли, во время которой гибнет главный носитель зла. Так наивно, назидательно, торжествует добро.

Войников, как отмечала критика, плодотворно использовал опыт мольеровских комедий и опыт сербского комедиографа Й. С. Поповича, но при этом насытил сложившиеся ситуации и образы живым материалом из болгарской действительности. Поэтому его персонажи представляются жизненно достоверными, близкими к реальной действительности, что и определило успех пьесы. Л. Каравелов писал, что она «написана более литературно и более искусно, чем исторические драмы г. Войникова... Она взята из современной жизни, в которой каждый писатель найдет больше живых драматических сцен, чем в нашей истории... Вот почему мы советуем г. Войникову оставить в покое и Бориса, и Кирилла, и Мефодия, и Велиславу, и взяться за современную жизнь. Мы относимся к таланту г. Войникова с сочувствием и считаем, что его талант искренний и правдолюбивый» [20. С. 181].

К сожалению, обстоятельства жизни Д. Войникова сложились так, что дальнейшее развитие его как драматурга и театрального деятеля стало невозможным. В 1871 г. он учительствовал в Гюргево в болгарской школе, где также организовал театральную труппу, хотя сведений о ее деятельности в печати нет. В 1875 г. он возвращается в Шумен и преподает в прогимназии. Чтобы в какой-то степени обезопасить себя от нападков турецких властей и местных богачей, он принимает русское подданство, но и это не облегчило его участь. Поэтому в 1876 г. он снова эмигрирует в Румынию, пишет комедии и драму, которые, однако, не поднялись до уровня лучших его прежних произведений. С началом русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Войников был переводчиком в штабе армейского корпуса русской армии и, как свидетельствуют документы, «отличился постоянным усердием и преданностью делу». В конце войны он был назначен управителем приюта в Тырново, где и скончался от тифа 27 марта 1878 г.

Перед войной Д. Войников написал социально-бытовую драму «Диманка или Верная первородная любовь» (осталась в рукописи) и издал одноактную комедию «Обращение турка в европейца». В 70-е годы он внимательно следит за театральной жизнью и выступает в периодической печати. Показателем его интереса к теории литературы и драмы служит подготовленный учебник «Руководство по словесности с примерами для упражненней в разных видах сочинений учеников в наших народных мужских и женских школах» (издан в Вене в 1874 г. на болгарском языке). В историко-культурном и театральном плане внимания заслуживает его предисловие к комедии «Плохо понятая цивилизация» и развернутая рецензия на пьесу В. Друмева «Иванко, убийца Асена I» (1872), которую правомерно воспринимать как полемическую статью с изложением взглядов Войникова на историческую драму.

Рассматривая исторические драмы в целом, Войников считает, что им должны быть присущи прежде всего романтический пафос, хотя в изображении быта, отдельных характеров явно проступают и реалистические черты. Генетически его исторические драмы и особенно комедия еще связаны с классицизмом, просветительской идеологией, хотя они и прокладывали путь для будущего реалистического театра, который станет господствующим к концу XIX в.

Надо сказать, что драмы Войникова, как и его постановки в Браиле, Бухаресте, Галаце, а затем в Шумене, не однозначно воспринимались болгарской общественностью тех лет. Первым приветствовал постановку «Райны княгини» в Браиле И. Блысков. В отзыве на спектакль (газета «Турция», май 1866 г.) он радовался успеху болгарских юношей — участников спектакля и приветствовал организатора труппы Д. Войникова, считая постановку новаторским, важным шагом в развитии национального просвещения и искусства. Через несколько недель в газете появилась без подписи редакционная статья о спектакле, принадлежащая, как выяснилось позднее, Т. Икономову — видному общественному деятелю и журналисту. Т. Икономов резко выступает вообще против театра как культурной институции в болгарской жизни, считая его «нелепостью», явлением чуждым болгарскому национальному духу, а тех, что осуществляет театральные постановки на любительской сцене, называет «самыми легкомысленными людьми».

Отрицательное отношение Икономова к первым болгарским представлениям вызвало возражения на страницах той же газеты со стороны просветителей Б. Генчева и Н. Войводова. Затем последовала заключительная редакционная статья, направленная, с одной стороны, на примирение спорящих, а с другой — все же оценивающая театральные представления как несвоевременные для болгар: «Театр сам по себе неплохое учреждение...,

но сейчас вводить театр в нашем отечестве значит наносить больше вреда, чем пользы и лучше, если его не будет» [14. С. 171—172]. Такое суждение⁴ рождалось из представления о театре как о развлекательном заведении и потому прагматики были против.

Тем не менее процесс становления болгарского театра фактически уже начался, и он был связан с жизненными потребностями развития школы, просвещения, а также с пробуждением национально-патриотического сознания и с усиливавшимся национально-освободительным движением. Поэтому не случайно болгарская эмиграция в Румынии в целом положительно отнеслась и к первому Болгарскому театральному обществу в Браиле, и к постановкам Войникова в разных городах. Два года спустя после дискуссии в газете «Турция» Д. Войников выступил в газете «Дунавска зора» с обоснованием правомерности появления болгарского театра и его значения для болгарского общества. «Театр,— писал он,— одно из условий развития народа. И действительно, когда народ начинает посещать свой театр, там он видит живое действие его славного прошлого, его исторические подвиги и достоинства; там он слушает живой язык чувства и мысли его славных предков; так он приобретает понятия о духе, талантах, наклонностях к пользе тех его предков, которые были достойны прославления ими народного воззрения и чувствует потребность народного развития. Одним словом, в народном театре он открывает всеобщую школу его народности» [17. С. 191]. Коснувшись далее первых постановок «Стояна Воеводы», «Райны княгини» и «Крещения Преславского двора», Д. Войников выделяет три несомненных достоинства, связанных с ними — укрепление болгарской школы, пробуждение национального самосознания соотечественников и выявление дарований болгарской молодежи, получивших признание болгарских зрителей. По его глубокому убеждению, наступило время для подлинного театра и истинных артистов.

Первые войниковские постановки приветствовал в своих рецензиях Л. Каравелов. Он, например, отмечал, что «Райну княгиню» и «Крещение Преславского двора» «заметила болгарская публика и даже возбудила большие надежды». Благосклонно критик высказывался и в отношении новой драмы Войникова «Велислава, болгарская княгиня», ценя в ней то, что «она очень верно изображает распад болгарского двора; интриги, которые отравили болгарских управителей и погубили народ» [20].

С появлением драмы В. Друмева «Иванко, убийца Асеня I», явившейся, несомненно, шагом вперед в развитии болгарской драматургии, свидетельством усиления в ней реалистического элемента, Л. Каравелов меняет свой взгляд на исторические драмы Войникова. В 1873 г. в № 28 газеты «Независимость» в статье «Болгарская драма», называя драму Друмева «первым делом, т. е. первым проявлением болгарской литературы» он критикует исторические пьесы Войникова как «бесцветные, безжизненные, неграмотные», а комедию «Плохо понятая цивилизация» за подражательность. Чем объяснить такие перемены в его взглядах? Надо полагать идейным ростом болгарской художественной и литературно-критической мысли.

Х. Ботев меньше занимался литературной критикой и особенно драмой, но он также довольно сурово оценивал Войникова как драматурга, поэта и теоретика. Остро он критикует Войникова за рецензию на драму Друмева в фельетоне «Знаешь ли ты, кто мы» («Независимость», 1873) и отрицательно относился к труду Войникова «Руководство по словесности». Поднявшийся общеэстетический уровень в болгарской литературной критике начала 70-х годов в связи со становлением реалистической эстетики выдвигал уже более высокие требования к писателям, о чем свидетельствовали выступления Л. Каравелова, П. Славейкова и Х. Ботсва.

Огромная заслуга Д. Войникова состоит в том, что он своими пьесами на исторические сюжеты утвердил в болгарской литературе историческую драматургию, которая затем получила продолжение и развитие в творчестве В. Друмева и И. Вазова. Другое достижение Войникова состоит в том, что он, опираясь на просветительские традиции, создал первую болгарскую театральную труппу, заложив основы любительского театра в Болгарии, что он при постановке исторических драм использовал произведения изобразительного искусства, песни и музыку, создав синтез будущего театрального искусства. Наконец, важное значение для болгарской культуры и эстетической мысли имели работы Войникова как критика, воспитателя болгарской молодежи, приобщавшейся к театральному искусству. Его деятельность в столь разных сферах обеспечила заметное место Д. Войникова в болгарской национальной культуре, восприятие его как исторического деятеля, по выражению академика П. Динекова, «открывшего магию театра — новый мир, чудный и увлекательный для болгарина той эпохи» [13. С. 384].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Вакарелски Хр.* Етнография на България. София, 1977. С. 588.
2. *Каракостов Ст.* Българският театър. Средновековие. Ренесанс. Просвещение. София, 1972.
3. *Брадистилова М.* Истоки болгарской театральной культуры эпохи национального возрождения // Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы XVIII—XIX вв. Типология и взаимодействие. М., 1990. С. 193—205.
4. *Иванова Е.* Кукерите — магия, игра или театър? // Проблеми на изкуството. 1990. № 1. С. 61.
5. Из краткой автобиографии С. Доброплодного // Бележити българи. София, 1969. Т. III. С. 288.
6. *Державин К. Н.* Болгарский театр. Очерк истории. М; Л., 1950.
7. *Блъсков И. Б.* Спомени. София, 1976. С. 159.
8. *Стоянов З.* Записки о болгарских восстаниях в 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 260.
9. *Вазов И.* Избранное в 2 т. Т. 2. Под игом. М., 1971. С. 121.
10. Театр в национальной культуре стран Центральной и Юго-Восточной Европы XVIII—XIX вв. М., 1976.
11. *Пенев Б.* История на българската литература. София, 1936. Т. IV. Ч. II.
12. *Минков Ц.* Добри Войников. София, 1941.
13. *Динев П.* Добри Войников // История на българската литература. Т. 2. Литература на Възраждане. София, 1966.
14. *Каракостов Ст.* Български възрожденски театър на освободителната борба. 1858—1878. София, 1973.
15. *Драгова Н.* Основоположник на Българския театър // Театр. 1958. № 11—12.
16. *Кралева С.* Българи сме се родили. София, 1982.
17. *Войников Д.* Избрани произведения / Подбор и ред. Д. Леков. София, 1978.
18. Възрожденски диалози. Въспитателна статия, подбор и научен коментар М. Брадистилова-Добрева. София, 1985.
19. *Белинский В. Г.* Полное собрание сочинений. М., 1955. Т. VIII. С. 96.
20. *Каравелов Л.* Събрани съчинения. София, 1966. Т. 6. С. 154.



ЭТНОЛИНГВИСТИКА В ЛЮБЛИНЕ

Непосредственным поводом для написания этой статьи послужил выход в свет первых двух томов серийного издания Люблинского университета им. М. Кюри-Скловской «Этнолингвистика» [1]. Состав авторов, тематика статей, их теоретическая направленность, методика, жанр и форма представления материала не были для читателя слависта, а тем более для польского читателя, новыми или неожиданными. Публикации люблинского коллектива ученых, возглавляемого профессором Ежи Бартминским, уже давно обратили на себя внимание лингвистов, фольклористов и этнографов глубиной и оригинальностью подхода к кардинальным проблемам соотношения языка и культуры. Новое издание непосредственно связано с начатой в середине 70-х годов подготовкой фундаментального научного труда — «Словаря народных языковых стереотипов» (*Słownik ludowych stereotypów językowych*), не имеющего аналогий в славянской лексикографии. Оно выросло из потребности систематического освещения направлений, стадий и форм работы над Словарем (сбор, систематизация, лексикографическая обработка, интерпретация материала), предварительной публикации словарных статей, теоретического осмысления и обсуждения объекта, методов, жанра, результатов Словаря.

В 1980 г. во Вроцлаве был издан пробный выпуск Словаря [2]¹, содержащий предисловие известного исследователя и теоретика фольклора профессора Ч. Хернаса, вступительную статью Е. Бартминского, излагающую теоретическую концепцию Словаря, инструкцию к составлению словарных статей, список использованных источников и сокращений (составитель У. Маер) и 11 пробных словарных статей: *Брат* (автор Р. Токарский), *Звезда* (Я. Ходукевич), *«Хей»* (Г. Журав), *Любить* (У. Маер), *Конь*, *Солнце* (Е. Бартминский), *Кукушка* (И. и Ч. Косыль), *Мать* (Я. Ягелло), *Розмарин* (И. Пух), *Талер* (Я. Адамовский), *Вол* (Е. Серотюк), а также индекс слов, использованных в текстах словарных статей (Е. Серотюк, Г. Журав).

Замысел и концепция Словаря, принадлежащие Е. Бартминскому, явились результатом и дальнейшим развитием идей и подходов, разработанных им в серии широко известных исследований, посвященных языку фольклора в его отношении к диалектному языку [4]². Предложенное в

Толстая Светлана Михайловна — д-р филол. наук, заведующая сектором Института славяноведения и балканистики РАН.

¹ Рецензии на это издание см. [3]. Обзор рецензий, дискуссий и откликов на пробный том помещен в [1. Т. 1. С. 13—15].

² Из новых работ этого направления можно указать на интересную монографию Е. Серотюка, посвященную сопоставлению фольклорной и диалектной лексики родства [5].

этих работах понятие стилистической деривации, связывающее два языковых идиома, позволило определить язык фольклора как особую функцию диалекта, как его стилистическую производную. Но это лишь одна сторона характеристики языка фольклора, относящаяся к его поэтической форме. Другой же своей стороной, содержательной, язык фольклора обращен к самому фольклору, т. е. к семантике и символическому коду фольклорных текстов и стоящей за ними «фольклорной картине мира». Именно это второе отношение: язык фольклора — содержание фольклорных текстов, фольклорная картина мира стало главным предметом изучения в новом цикле работ, связанных с созданием Словаря.

Теоретические принципы Словаря излагаются Е. Бартминским в нескольких публикациях³, где по отношению к Словарю применяются следующие различные обозначения: словарь песенного польского фольклора; словарь народных языковых стереотипов; этнолингвистический словарь. Все эти определения вполне адекватны задуманному профилю, содержанию и задачам Словаря, но отражают разные стороны его концепции: предмет (язык фольклора), подход (этнолингвистический) и ключевое понятие, соответствующее основной единице лексикографической репрезентации (языковой стереотип).

Основой концепции Словаря является постулат о глубинной, двусторонней связи языка и культуры, понимание языка и как продукта, и как орудия культуры, дающего возможность реконструировать «языковую модель мира». К такому пониманию проблемы соотношения языка и культуры привело как внутреннее развитие и расширение рамок самой лингвистики (прежде всего за счет таких ее современных направлений, как семантика, прагматика, теория речевых актов, лингвистика текста и др.), так и изучение культуры, в частности традиционной народной культуры, и фольклора как ее составной части. В своих теоретических построениях Е. Бартминский остается лингвистом и объектом изучения считает язык, но язык в его разнообразных культурных функциях, язык как вербальный код и модель культуры.

Подобное направление современной гуманитарной науки, получившее название этнолингвистики⁴, в настоящее время активно развивается в двух славистических научных центрах: в секторе этнолингвистики Института польской филологии Люблинского университета, которым руководит Е. Бартминский, и в секторе этнолингвистики и фольклора Института славяноведения и балканистики РАН в Москве, возглавляемом Н. И. Толстым. В обоих центрах этнолингвистический подход служит практическим целям создания новых для славянской лексикографической традиции типов словарей⁵. При очевидных различиях географических и жанровых рамок обоих словарей (в люблинском будет представлен материал одной — польской — традиции и главным образом песенных и стихотворных жанров фольклора, в московском — материал всех славянских традиций, причем без ограничения жанров и видов народной культуры, т. е. не только собственно фольклор, но и обряды, верования, народное искусство и т. д.), их цели и исходные принципы обнаруживают значительное сходство, которое по мере продви-

³ Кроме упомянутой вступительной статьи к пробному тому 1980 г., следует назвать ее расширенную и несколько измененную версию, опубликованную в первом томе «Этнолингвистики», а также публикации [6].

⁴ Об истоках, задачах, содержании и методах современной этнолингвистики подробнее см. [7].

⁵ Концепция московского словаря изложена в работах [8].

жения работы над словарями возрастает. Это сходство состоит прежде всего в том, что объектом лексикографического представления в обоих словарях являются не только и не столько языковые средства и способы выражения релевантных для культуры смыслов, сколько сами эти смыслы, т. е. само содержание культуры, закрепленное в языке (его лексике, фразеологии и текстах).

В основе концепции люблинского словаря лежат два главных понятия: языковая картина мира (*językowy obraz świata*) и языковой стереотип (*stereotyp językowy*). Первое — это «мир, видимый сквозь призму языка», моделируемый языком, второе — это ментальный образ предмета, закрепленный в его названии и относящихся к нему текстах. Оба понятия имеют и более узкое, более формальное определение: языковая картина мира — это «совокупность суждений о свойствах и способах существования объектов внеязыковой действительности, суждений, в той или иной степени закрепленных в языке, заключенных в значениях слов или подразумеваемых этими значениями» [9], а языковой стереотип — это компонент языковой картины мира, т. е. суждение или несколько суждений, относящихся к определенному, единичному объекту внеязыкового мира. Таким образом, эти два понятия связаны между собой отношением «целое — часть».

Понятие стереотипа используется в разных гуманитарных дисциплинах — социологии, психологии, культурологии, литературоведении, философии языка, в каждой из которых имеет свое содержание. Е. Бартминский посвятил этому понятию специальную работу (содержащую также библиографию и очерк истории вопроса) [10], в которой обосновал его применимость в лингвистике и этнолингвистике.

В отличие от узкого понимания стереотипа в социологии (суждение, относящееся к людям как представителям этнических, профессиональных и других групп, типа «немцы аккуратны» или «англичане привержены традициям»), языковой стереотип в концепции Бартминского может относиться к любому объекту внешнего мира (людям, животным, растениям, природным явлениям, человеческой деятельности, свойствам, отношениям и т. п.) как его «образ», как «общественное мнение» (*public opinion*, по выражению автора теории стереотипов В. Липпманна) об объекте, ассоциирующемся с его номинацией (словом или выражением).

Е. Бартминский предлагает с о д е р ж а т е л ь н у ю интерпретацию языкового стереотипа (в отличие от формальной, принятой во фразеологии): «Стереотип — это совокупность признаков (суждений), не охватываемых семантическими категориями, но обеспечивающих адекватное употребление знака (его правильное соотнесение с референтом) и вытекающих из знаний о мире или представлений о нем» [10. S. 47]. В такой трактовке языковой стереотип оказывается, с одной стороны, составной частью лингвистической теории, коррелируя с такими категориями, как значение, денотат, коннотация, языковая компетенция и языковая практика, семантика и прагматика, предложение и высказывание, идиоматика и свободная сочетаемость, а с другой стороны, он может служить инструментом познания и описания картины мира. Двусторонность языкового стереотипа, одновременная обращенность его к языку и действительности, к слову и его денотату (реалии) позволяют считать его одновременно и характеристикой слова (языка), например, говорить о стереотипе слова *солнце*, и характеристикой объекта внешнего мира, например, говорить о языковом стереотипе самого солнца, т. е. о соотнесенных с этим объектом языковых выражениях,

передающих *public opinion*.⁶ Когда говорится о том, что языковой стереотип может определяться через понятие коннотации, т. е. семантического элемента, «надстроенного» над лексическим значением слова, дополнительного по отношению к нему, отражающего те свойства объекта, которые не вошли в его лексическое значение (например, признак «неопрятность», сопутствующий лексическому значению слова *свинья*, или признак «медлительность», сопутствующий лексическому значению слова *черепаха*), то имеется в виду стереотип с л о в а, выраженный в форме суждения (предложения): «Свинья — неопрятное животное» или «Черепаха медленно передвигается». Но это же суждение входит в культурный и языковой стереотип самого животного, т. е. в сумму признаков, из которых складывается его образ в «наивной» (ненаучной) картине мира. Отсутствие указанного различения двух значений термина «стереотип» в концепции Бартминского объясняется, как кажется, тем, что сама языковая картина мира понимается в ней не столько как ментальная категория коллективного сознания, сколько как область языковой семантики в широком смысле слова.

При таком расширительном понимании языка и языковой семантики утрачивает смысл и противопоставление: языковая картина (модель) мира — фольклорная картина (модель) мира — культурная (традиционная, народная и т. п.) картина (модель) мира. Первые два из этих идиомов могли бы иметь собственное содержание и свои границы, включаясь в общую культурную модель на правах ее подсистем или «жанров», черпая и отбирая из нее средства для разработки своих элементов, своей символики, своих мотивов⁷. В этнолингвистической концепции Бартминского языковая картина мира понимается как общая культурная модель, не ограниченная рамками языка или фольклора.

Между тем первоначальный замысел предполагал создание словаря польского песенного фольклора в своих собственных рамках. Такая задача подразумевала, что объектом лексикографического описания будут элементы (слова, выражения) определенного корпуса песенных текстов (в объеме собрания О. Кольберга, опубликованных сборников песен и коллекции новых полевых материалов, собранных на Люблинщине), а их толкования будут строиться на базе «фольклорной модели мира», т. е. некоторой суммы смыслов, заключенной в анализируемых текстах. В дальнейшем, однако, оказалось, что для полноценной семантической интерпретации языка песен необходимо выйти за пределы избранных жанров, ибо их семантика — лишь частичное и жанрово ограниченное отражение единого семантического

⁶ В названиях студенческих (дипломных) работ, выполненных под руководством Е. Бартминского и связанных тематически с подготавливаемым Словарем, встречаются оба понимания стереотипа, ср. «Языковой стереотип воды в польской народной прозе», «Стереотип Бога в польском народном языке», но «Языковые стереотипы названий народностей», «Семантическая коннотация названий звезд в польском народном языке» и т. п. Перечень этих работ (39 названий) приведен в [1. Т. 1. С. 32—33].

⁷ Ср. подход Р. Жегорчицкой, которая справедливо различает «языковое знание» (*wiedza językowa*), общее (энциклопедическое) мировоззрение (*wiedza o świecie*) и «культурное знание» (*wiedza kulturowa*) как особую разновидность общего мировоззрения, соответствующую определенному корпусу культурных текстов [11]. К этому можно было бы добавить, что одной языковой картине (модели) мира может соответствовать несколько культурных моделей. «Книжная» (христианская) и «народная» (языческая, мифологическая или синкретичная) культуры могут пользоваться одним языком; в определенной степени различны и картины мира, стоящие за фольклором, с одной стороны, и верованиями и обрядами — с другой. Соответственно будут различаться и стереотипы одних и тех же «предметов»: языковой стереотип Бога будет отличен от фольклорного и от стереотипа, характерного для верований; различны стереотипы кукушки, коня, березы, яблони и т. п. Эти разные «знания» (или картины мира) образуют иерархическую структуру: общее мировоззрение необходимо присутствует в языковой картине мира, которая в свою очередь зависит от культурной модели (и одновременно формирует ее); фольклорная картина мира опирается на культурную модель и т. д. См. также [12]. Концепцию словаря языка фольклора, ориентированного на фольклорную модель мира, отличную и от языковой, и от общекультурной модели, разрабатывает С. Е. Никитина. См. [13].

языка народной культуры. Песенный фольклор — только одна из многих составляющих универсума народной культуры, наряду с другими видами фольклорных текстов, а также невербальными формами и жанрами — обрядовыми (ритуальными, акциональными) и концептуальными (верования, народные представления). Все они пользуются единым символическим языком традиционной народной культуры, за каждым из них стоит вся картина мира. Это не значит, что не существует специфически языковой (в узком смысле слова) или специфически фольклорной картины мира, но они представляют собой лишь жанровую модификацию общей картины, общей системы представлений и символов.

Такое понимание языка фольклора потребовало существенного расширения «интерпретирующего» материала: за счет прозаических текстов, малых вербальных форм, фразеологии, нефольклорных (диалектных) языковых фактов, обрядов, ритуально-магических приемов, верований, народного искусства. В результате сформировался тот тип словаря, который остается словарем языка польского песенного фольклора, но только, так сказать, «на входе», т. е. в той его части, которая является объектом толкования, интерпретации. «На выходе» же этот словарь становится словарем этнокультурным (этнолингвистическим) в широком смысле, ибо он соотносит каждый факт песенного языка со всей картиной мира (в терминологии Е. Бартминского — с языковой картиной мира).

Целью «Словаря народных языковых стереотипов» является «воссоздание народной картины мира, лежащей в основе языка и служащей его информационным субстратом, составляющей фундамент языковой и культурной коммуникации» [I. Т. I. S. 16]. Его более специальные задачи состоят в том, чтобы дать в руки исследователей исчерпывающее описание семантического содержания отдельных слов и выражений и тем самым стать «инструментом интерпретации фольклорных текстов», их систематики, изучения вариантов, мотивов, географии, эволюции отдельных явлений [I. Т. I. S. 17].

Минимальной дискретной единицей, «мазком» картины мира является стереотип. В Словаре будет представлено около тысячи таких стереотипов, выбранных по их культурной значимости. Остальные, менее значимые элементы картины мира, заполняющие «промежутки» между стереотипами, будут учтены в дополняющем Словаре индексе. Концепция Словаря не предусматривает специальной задачи выявления системных отношений между стереотипами, но вместе с тем и не трактует воспроизводимую картину мира как простую сумму стереотипов. Первый шаг к системному представлению можно видеть в том, что Словарь будет построен по тематическому, а не алфавитному принципу. Его структура будет соответствовать порядку «творения мира»: космос (небо, земля, вода, огонь, воздух и другие стихии и явления природы), растения, животные, человек в его биологической, психической, социальной, культурной жизни; стереотипы времени и пространства, количества и признаков, религии и демонологии и т. д. Такая организация Словаря позволит в определенной мере отразить структуру отдельных тематических сфер (семантических полей), однако это в большей степени зависит от того, как строится каждая отдельная словарная статья, в какой степени описание каждого стереотипа ориентировано на парадигматическую символику языка культуры, на изофункциональные (синонимические) ряды символов (стереотипов), их оппозиции, на семантические отношения и закономерности, действующие независимо от тематических рамок.

Структура и содержание словарной статьи в Словаре существенно отличны от всех известных нам образцов лексикографического жанра. Соответственно общей задаче и концепции Словаря каждая статья должна представить материал (языковой, фольклорный, этнографический), выявляющий данный стереотип, и дать его содержательное (семантическое) толкование. Статьи в Словаре состоят из двух частей: экспликации, т. е.

определенным образом упорядоченных семантических характеристик, релевантных для описываемого стереотипа, и документации, содержащей полную сводку документированных цитат, расположенных по стандартным рубрикам, принятым в «экспликациях». Главной задачей Словаря — семантической характеристике стереотипов — отвечает, собственно говоря, лишь первая часть статьи. Вторая же часть, содержащая упорядоченный материал для толкования (эксplikации) и, безусловно, являющаяся первичной, исходной в процессе лексикографической обработки, служит лишь систематическим указателем к Словарю и, таким образом, имеет качественно другую ценность и другого адресата.

Первая часть статьи, называемая эксplikацией, по своей функции аналогична толкованию в толковых словарях, но по форме и содержанию она резко отлична от него. Прежде всего она не дает так называемых научных дефиниций, а исходит лишь из тех признаков, которые релевантны для фольклорных текстов и народной культуры в целом, которые уже выделены и обозначены устойчивыми суждениями типа «солнце играет на Пасху» или «конь пьет воду» (=парень любит девушку)⁸. Эти суждения могут быть реальными цитатами (контекстами), почерпнутыми из фольклорных текстов или фразеологии, а могут быть логическими конструктами, принадлежащими составителям и реконструированными из текстов, верований, обрядов и т. п. (например, «кукушка своим кукованием предсказывает количество оставшихся лет жизни»). Толкование (эксplikация) представляет собой ряд таких предложений-суждений, отражающих определенные и устойчивые в народной традиции характеристики описываемого объекта, создающие в совокупности его целостное, многогранное представление, адекватное его образу в коллективном сознании носителей языка и культуры. Для упорядочения этих характеристик в Словаре используется система так называемых лексических функций или семантических валентностей, предложенная в работах Ю. Д. Апресяна, И. А. Мельчука, А. К. Жолковского и др. С их помощью фиксируются парадигматические и синтагматические отношения описываемого предмета к другим предметам — отношения иерархии (выделяются гиперонимы, например: *конь* / животное, гипонимы: *дерево* \ дуб, липа, яблоня), части и целого (*порог* как часть дома; *дерево* как имеющее *корень*, *ствол*, *ветви*, и т. п.), синонимии, антонимии, текстового параллелизма или оппозиции, атрибутивности (например, постоянные эпитеты: *конь вороной*, *береза белая* и т. п.), количества (*три сына*), степени (уменьшительности и аугментативности), агентивности (*солнце всходит*), объекта (*отец выдает замуж дочь*), адресата (*парень жалуются кукушке*), инструмента, материала, происхождения и превращения (*кукушка превращается в ястреба*), времени, места, каузации и т. д.

Столь детализированная система признаков, накладываемая на каждый описываемый объект, позволяет создать действительно полный его образ и не упустить ни одной из его черт⁹. Эта частая сеть, сквозь которую

⁸ Такое толкование, в отличие от лингвистического, носящего таксономический характер и подчиненного логическому принципу указания на *genus proximum* и *differentia specifica*, называется когнитивной дефиницией. К нему предъявляется требование содержательной и структурной адекватности. Первое обеспечивается анализом толкуемого слова в системе языка, в текстах на этом языке, привлечением в качестве информаторов носителей языка и культурной традиции, изучением социологического, этнографического и т. п. контекста соответствующей реалии. Второе — использованием «наивных», предлагаемых информатором дефиниций, учетом различных взаимных отношений между отдельными компонентами стереотипа, ориентацией на «прототип», использование категориальных рубрик, содержательно организуя набор характеристик. Подробнее см. [14].

⁹ Требование полноты характеристики признается принципиально важным: «Прежде всего недопустима селективность, ограничивающая число характеристик дефиниции необходимым и достаточным для идентификации денотата. Должны быть учтены все черты, закрепившиеся в языковом образе предмета. В этом отношении состав характеристик должен быть исчерпывающим» [14. С. 177].

пропускается весь текстовый материал, т. е. все извлеченные из источников суждения (выражения) об описываемом предмете, позволяет иногда «выловить» такие признаки, которые трудно было бы заметить при более общем взгляде на него. Но вместе с тем такая универсальная для всех стереотипов «матрица» признаков часто не только избыточна, но, что важнее, способна стереть, затушевать тот особый набор и ту особую для каждого стереотипа конфигурацию этих признаков, которые и составляют индивидуальный образ предмета в общей картине мира. Иначе говоря, релевантность выделенных признаков в разных случаях различна. Кроме того, сами лексические функции оказались по своему характеру слишком внешними, формальными рубриками, далекими от семантики описываемых стереотипов. Видимо, поэтому в более поздних статьях, публикуемых после выхода в свет пробного тома, эти функции отошли на второй план, уступив место более содержательным рубрикам. Например, в предложенной Е. Бартминским краткой версии словарной статьи *Дождь* предусмотрены такие рубрики, как «предсказание дождя», «власть над дождем» и т. п. [14. S. 176]; в статье М. Козел *Стригонь* выделены рубрики «внешний вид», «трансформации» и др. [1. Т. 2. S. 85—86].

Другой важный вопрос — внутреннее соотношение выделенных характеристик. Подобно тому, как картина мира не сводима к сумме стереотипов, стереотип не может пониматься как сумма суждений-характеристик, хотя уже само наличие устойчивой языковой (фольклорной) формы свидетельствует о выделенности, т. е. определенной релевантности характеристики. Стереотип тоже имеет свою структуру и свою внутреннюю иерархию черт. Некоторые признаки оказываются доминирующими, определяющими в образе, другие — второстепенными, подчиненными. Один и тот же признак может быть мало значимым компонентом целого, а может быть определяющим в его семантической структуре, в его символическом функционировании (начиная от метафор на его основе и кончая обрядами, им порожденными). Например, в образах мифологических персонажей доминирующим может быть то признак внешности (*краснолюдек*), то локуса (*домовой*, *водяной*), то происхождения (*стригонь*, *русалка*), то характерных действий (*планетник*, *богинка*, *змора*) и т. п. Структура статьи в ее сложившемся виде не дает возможности выявить эти различия и интерпретировать их. Кроме разделов «экспликация» и «документация», словарная статья, по видимому, нуждается в разделе «интерпретация», где бы взаимно оценивались выделенные характеристики и устанавливались их семантические связи. Отчасти эту функцию берет на себя открывающая каждую статью краткая дефиниция, отбирающая из всех характеристик важнейшие, но критерии такого отбора и его мотивировка не всегда ясны и не вытекают из полного набора черт, а предшествуют ему. Так, в статье *Кукушка* вступительная дефиниция выглядит следующим образом: «Серая или белая птица, кукующая в лесу, на деревьях, около дома, откладывает яйца в чужие гнезда и не заботится об их дальнейшей судьбе; в народных верованиях голосом своим предвещает счастье (долгую жизнь, свадьбу, весну, детей, деньги) или беду (смерть, стародевство, болезнь, голод, непогоду); ассоциируется с девушкой, с грустью, плачем».

Подобная дефиниция удачно резюмирует содержание приводимых далее в разделе экспликации характеристик, но она не дает такого обобщения, которое можно было бы назвать «семантической формулой» описываемого стереотипа, основанной на анализе и интерпретации выявленных характеристик. В ней, в частности, не говорится о кукушке как особом, мифологически выделенном члене птичьего «ряда», не акцентируется восприятие кукушки как представителя или посланца иного мира, чем объясняется и ее вещий характер, и ее устойчивая связь с мотивом плача и особенно — оплакивания умерших. В этом контексте и мотив девушки-невесты, без-

условно, актуализирует мотив свадьбы-смерти. Правда, в польском материале эти мотивы выражены слабо по сравнению с материалами южнославянскими, где *кукати* вообще означает 'голосить, оплакивать' (сербскохорв.), и восточнославянскими, где мы имеем и обряд «похороны кукушки», и ритуальные формы общения с умершими родственниками посредством кукушки, к которой бываюи обращены специальные песенные тексты-плачи (см. [16]).

Этот пример еще раз показывает, насколько возможности семантической интерпретации (и, конечно, также реконструкции древнеславянской картины мира) зависят от широты охвата традиции. Он подтверждает также и то, что традиционная славянская духовная культура составляет единое целое, по отношению к которому каждая отдельная традиция и тем более локальная модель являются только фрагментом. Их полноценная интерпретация возможна лишь в рамках целого. Но есть такие элементы славянской духовной культуры, которые не получают истолкования и на этом общем фоне и требуют для своей интерпретации еще более широкого контекста — общеевропейского (таковы, например, стереотипы «грибы» или «гора», значение которых проявляется лишь в общеиндоевропейском масштабе [17]).

Возвращаясь к опубликованным статьям Словаря, надо сказать, что доля интерпретации в них неодинакова. Это определяется не только самим материалом и подходом автора статьи (так, скажем, статья Я. Ягелло *Мать* в пробном выпуске резко выделяется на фоне других именно своей «интерпретационностью», концептуальностью), но и эволюцией самого жанра статьи этнолингвистического словаря.

Интерпретация, таким образом, должна состоять в нахождении «семантической формулы», т. е. в выделении доминирующего признака-характеристики и установлении ее «ключевого» характера по отношению к другим признакам.

Наличие доминирующего признака в семантической структуре стереотипов обусловлено их символической природой. Присущая стереотипу символическая функция как бы затемняет все семантическое поле предмета, высвечивая один из релевантных признаков, который и становится символически значимым и определяет вхождение символа в эквивалентные ряды или оппозиции символов¹⁰. По аналогии с введенным Е. Бартминским понятием стилистической деривации в этом случае можно было бы говорить о символической деривации. Например, в стереотипе *бузины* (*Sambucus nigra* L.) доминирующим оказывается признак, определяющий это растение как демонический локус, как место обитания или воплощение нечистой силы. С этим признаком связаны все символические функции бузины, отраженные в ее обрядовом применении, фольклорных мотивах, языковой номинации и т. п. Этот стереотип связан преимущественно с западнославянской традицией, тогда как у южных славян на первый план выступают нейтральное или позитивное осмысление бузины и ее использование в обрядовых действиях и народной медицине; у восточных славян практически отсутствует и то, и другое, а негативный комплекс представлений и ритуальных функций связан с осиной, вербой и другими растениями [19]. В стереотипе *солнца* доминирующим следует, видимо, считать признак «быть атрибутом „этого“ света» в его оппозиции иному, загробному миру (с которым в космическом, небесном коде ассоциируется луна), ср. устойчивое определение «того» света как места, «где солнце не светит (не греет)». Этот признак и становится основой символа.

В образе одного и того же предмета могут выделяться несколько доминирующих признаков, и тогда он может стать основой нескольких разных символов. Приведем в качестве примера «семантическую формулу» *борсны*,

¹⁰О семантике символа и его отношении к образу см. [18].

предложенную в одноименной статье московского «Этнолингвистического словаря славянских древностей» и выделяющую в качестве доминирующих признаки «острый», «железный», «решетчатый» («плетеный», «ячейчатый»):

«Символика Б. основывается на ее форме, технологии изготовления и ее функции как земледельческого орудия. Наличие зубьев определяет использование Б. в качестве оберега и ставит ее в один ряд с другими зубчатыми и острыми предметами: вилами, граблями, гребнем; иглой, ножом, серпом, колючими растениями и т. п. Зубья обуславливают и фаллическую символику Б., подобно другим предметам сходной формы (пест, палка, сук, шишка, гвоздь, кинжал, корень и т. п.), противопоставляя Б. земле как мужское начало женскому. Функция оберега у Б. мотивируется также решетчатостью (как у берда, решета) и наличием крестообразной основы и плетеных узлов (как у сети). В загадках по признаку плетения Б. сблизается с дырявым тканым лоскутом (ср. также обычной снования на Б. в Банате). Ячейки между переплетениями Б. имеют магическую функцию: сквозь них можно увидеть нечистую силу (как и через хомут, рукав, калач, дырку от выпавшего сучка и т. п.). Особую магическую силу имеет Б. из осины (в.-слав.) или бузины (з.-укр.), а также Б. с железными зубьями» [20].

Из этого примера видно, что интерпретация материала в московском словаре базируется прежде всего на п а р а д и г м а т и к е, т. е. на системных отношениях, в которые входят все элементы картины мира, на анализе парадигматических (символических и функциональных) рядов эквивалентных единиц, на представлении стереотипа (образа предмета) как фокуса, как пучка символических функций предмета, имеющего определенную структуру и иерархию. Но такому парадигматическому представлению с необходимостью должен предшествовать анализ с и н т а г м а т и к и каждого предмета, т. е. учет всех культурных контекстов (языковых, ритуальных, концептуальных, изобразительных и т. д.), в которых встречается описываемый предмет. Люблинский словарь стереотипов преимущественно акцентирует именно этот, синтагматический аспект и стремится обеспечить полноту языкового, фольклорного и этнографического контекста каждого толкуемого объекта. В меньшей степени в опубликованных словарных статьях уделяется внимание тому, какие еще (другие) предметы могут выступать в тех же контекстах, т. е. быть изофункциональными исследуемому предмету, и каковы общие признаки, объединяющие их в один ряд.

Работа над словарем в Люблине ведется уже более десяти лет. Ее важные результаты не сводятся лишь к опубликованным и подготовленным к печати словарным статьям, хотя таковых уже немало. Уже завершена работа над первым томом, посвященным теме «космос». Значение работы люблинского коллектива состоит прежде всего в том, что в процессе подготовки Словаря широко развиваются и углубляются теоретические исследования традиционной народной культуры в ее «сокровенной связи» с языком и языковым видением мира. Концепция Словаря «погружается» в контекст собственно языковедческих, логических, психологических, культурологических разысканий, высвечивая в каждой из этих областей новые проблемы и предлагая их новое решение.

Кроме цитировавшихся работ Е. Бартминского, в томах «Этнолингвистики» помещены интересные и глубокие статьи лингвистического профиля, непосредственно связанные с ключевым для Словаря понятием стереотипа и методами семантического толкования слов. Х. Карделя в статье «Так называемая когнитивная грамматика и проблема стереотипа» анализирует стереотип в концепции Бартминского как органический элемент когнитивной лингвистики, соотносимый с понятием прототипа, и сравнивает общезыковую стереотип с фольклорным на примере стереотипов «змора» и «конь». В обоих случаях фольклорные стереотипы отличаются от общезыковых тем, что они ближе к прототипу, менее подвержены метафоризации, что отражается и на их синтаксической сочетаемости. Статья Р. Токарского «Синтаксический элемент в компонентном анализе» посвящена собственно семантической проблеме компонентного анализа значения. Хотя в ней идет речь о значении в узком смысле слова, без учета коннотации

(т. е. о языковом, а не этноязыковом значении), предлагаемый автором подход, согласно которому значение — не просто сумма сем, а определенная структура, обладающая своим синтаксисом (более сложным, чем простая конъюнкция сем), имеет прямое отношение и к трактовке семантики стереотипа (ср. выше замечания об организации признаков и их иерархии). Внесение «синтаксиса» в семантическое описание стереотипа может быть весьма продуктивным, но это не значит, что структура языкового значения и семантическая структура стереотипа подобны. Как уже говорилось, в семантике стереотипа отсутствует та обязательная логика общей основы и специфических черт, которая характерна для языковой семантики. Доминирующим признаком в стереотипе может быть практически любой, а не только логически главный (*genus proximum*).

Непосредственно связаны с концепцией и методами словаря статьи А. Кравчик «Язык как источник знаний о человеке» и Е. Барминского «Языковые способы членения мира. Замечания в связи с билгорайскими свидетельствами о космосе». В первой из них дается сжатый обзор представленных в научной литературе взглядов на язык как на «классификатор» мира, как на призму, через которую человек видит и воспринимает мир. Но язык не только отражает мир и его восприятие человеком, но и дает оценку этого мира обществом, общественное мнение о мире. Инструментом и единицей этого «суда над миром» является стереотип. Статья Е. Барминского ставит методологически важные вопросы оценки и интерпретации материалов, записанных в современных условиях при непосредственной работе с носителями народной культуры, чья картина мира содержит понятия и оценки разных эпох и разных культур. В какой мере эти данные могут быть источником реконструкции традиционного мировоззрения? Высказанные автором соображения, сформулированные им требования языковой аутентичности, учета коммуникативной ситуации, в которой происходит сбор материала, личности и биографии информаторов, их психического склада (ср. выделяемые им типы информаторов с наивным и с рефлексивным сознанием, чье отношение к сообщаемым ими сведениям различно), опираются на большой личный опыт собирательской работы и, безусловно, окажутся полезными каждому собирателю. Но главное значение этой работы, по-видимому, состоит в другом. Хотя автор и не ставил перед собой такой задачи, его статья по существу представляет собой попытку очертить жанровые характеристики самых разнообразных текстов, излагающих и отражающих народные верования. При этом он исходит как из самосознания информаторов, их собственных жанровых квалификаций (*bajka, kazanie, opowieść, przepowiednia, przemowa* и т. п.), так и из научных определений, основанных на структурно-функциональных и аксиологических критериях (например, *kołęda życząca, modlitwa, formuła powitalno-magiczna, zamówienie. znachorskie, przysłówie* и т. п.). Кроме этих, признанных в фольклористике жанров заслуживают специального внимания такие прозаические тексты, которые не имеют клишированного характера и которые в относительно свободной форме излагают верования и убеждения информаторов. Такие тексты, называемые *opowieści wierzeniowe* (рассказы о верованиях), служат для передачи фольклорной традиции, т. е. являются средством обучения и занимают по своему статусу промежуточное положение между фольклором и повседневной речевой деятельностью. В современных условиях, когда традиционные верования начинают ощущаться как относящиеся к прошлому и потому носят на себе отпечаток цитат, можно констатировать появление такого жанра, как «воспоминание о веровании».

Вообще же теоретическим и методическим вопросам собственно фольклористики в ее узких рамках в первых томах «Этнолингвистики» уделено

относительно мало внимания (во втором томе помещена интересная статья М. Абрамовича об инципитах песен как о своего рода фольклорной универсалии, об их жанровоопределяющей функции, их структуре и стереотипной семантике). Различные вопросы теории, систематики, автоматической обработки текстов фольклора рассматриваются во многих специальных работах Е. Бартминского и его коллег [21].

Специальные обширные разделы в обоих томах «Этнолингвистики» отведены для публикации предварительных версий подготавливаемых словарных статей. В первом томе помещены статьи Г. Бончковской «Коровай», У. Маер-Барановской «Языковой стереотип плача в польском народном языке», Ф. Чижевского «Змора»; во втором — статьи Д. Невядомского «Семантика яйца в обрядности пахоты и сева», Я. Адамовского «Гостинец 'дорога' в польском стихотворном фольклоре», М. Козел «Стригонь». Эти статьи не только вводят в научный оборот богатый материал, систематизированный в соответствии с целями и жанром Словаря, но и продолжают формировать сам этот жанр, нащупывая и опробуя его новые возможности, в том числе и возможности более последовательной интерпретации, совершенствуя методику этнолингвистической (когнитивной) дефиниции стереотипов, специализируя ее в зависимости от логической и языковой природы описываемых объектов. Так, особого подхода требует дефиниция стереотипов предикатов — действий, состояний, процессов, признаков, о чем убедительно говорится в статье У. Маер-Барановской. В статье М. Мазуркевич «Работа и *szacun* в польском народном языке» предлагается интересный опыт анализа обширного лексико-семантического поля «работы» и обосновывается существование двух разных, хотя и связанных друг с другом стереотипов работы — сакрального (его ключевыми лексемами являются *pracować*, *Pan Bóg*, *Pan Jezus*, *Najświętsza Panna*, *rolnik*, *gospodarz*, *rola*, *plug*, *zboże*, *chleb*) и профанного, связанного с понятием долга, физического напряжения, нужды, угнетения (его ключевые лексемы — *robić*, *szuć*, *chłop*, *szuga*, *sierota*, *pole*, *grunt*, *pan*, *ekonom*)¹¹.

Еще одним разделом серийного издания «Этнолингвистика» являются «Материалы», в которых публикуются прежде всего новые записи этнографического и фольклорного характера, произведенные в полевых экспедициях на территории Люблинского края. В первом томе напечатан чрезвычайно ценный фрагмент народного сонника, обработанного в виде словаря Е. Бартминским и Г. Бончковской. Народный сонник — не только один из источников для изучения символики народной культуры, но и особый фольклорный жанр, который, в отличие от сонников книжной традиции, еще совсем неизучен (см. семантический анализ этого материала [23]). Я. Адамовский опубликовал здесь же небольшую подборку свадебных песен, записанных от одной исполнительницы из села Вулька Полиновская в воеводстве Бяла Подляска. Во втором томе помещен подготовленный Е. Бартминским обширный корпус диалектных текстов из окрестностей Билгорая на тему «космос». Он включает 104 текста, повествующих о сотворении мира, о небе, облаках, солнце, луне, звездах, громе и молнии, тучах, дожде, ветре, вихре, снеге, огне, камнях и др. Это не только исключительно ценные и подробные записи верований, но и новые свидетельства об обрядах, ритуалах, предписаниях и запретах, лечении и заговорах, демонологических представлениях и т. п. Полнота и обстоятельность этой тематической подборки во многом определяются опытом и хорошей

¹¹ Кроме словарных статей, помещенных в пробном выпуске Словаря 1980 г. и в двух томах «Этнолингвистики», опубликовано еще несколько статей в других изданиях [22].

этнолингвистической подготовкой собирателей. Она с благодарностью будет использована многими исследователями традиционной культуры, которым часто приходится довольствоваться единичными, случайными и редкими свидетельствами такого рода. Ф. Чижевский публикует шесть текстов, относящихся к народной демонологии (былички о черте, встречах с ним и его превращениях) и записанных в окрестностях Грубешова¹².

Оба тома «Этнолингвистики» включают также раздел рецензий, в котором содержатся отклики на новейшие работы в области традиционной народной культуры и фольклора, в том числе и с ценными замечаниями о публикациях по этнолингвистике московских авторов.

Краткий обзор трудов и публикаций люблинских ученых по этнолингвистике, конечно, не исчерпывает всех направлений и форм деятельности этого чрезвычайно продуктивного научного коллектива, развивающего на пограничье лингвистики, фольклористики, культурологии, этнографии и других наук новые подходы, концепции и методы, направленные на комплексное и объемное изучение универсума народной культуры, эвристическая и духовная ценность которой в современном мире не нуждается в доказательствах. Подготавливаемый в Люблине «Словарь народных языковых стереотипов», несомненно, явится новым словом во многих областях гуманитарного знания и одновременно новым стимулом к дальнейшему поиску¹³.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Etnolingwistyka*/Pod red. J. Bartmińskiego. Lublin, 1988—1989. T. 1—2.
2. *Słownik ludowych stereotypów językowych. Zeszyt próbny*/Pod kierownictwem naukowym Jerzego Bartmińskiego. Wrocław, 1980.
3. *Semantische Hefte*. Heidelberg, 1979—1980. T. IV. S. 8—15 (A. Hönig); *Poradnik językowy*, 1984, N 9/10. S. 587—592 (A. M. Lewicki).
4. *Bartmiński J. i J. O słownictwie folkloru w związku z nowym słownikiem gwarowym*//*Język polski*, 1967, N 5. S. 360—373; *Bartmiński J. O języku folkloru*. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1973; *Bartmiński J. O procesie formowania się interdialektu poetyckiego w języku polskiego folkloru*//*Ludność dawniej i dziś. Studia folklorystyczne*. Ossolineum, 1973. S. 237—257; *Bartmiński J. O derywacji stylistycznej*, (na przykładzie poetyckiego interdialektu folkloru i «gwaru» w literaturze)//*Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego*. 1977. Z. 457. S. 87—111; *Bartmiński J. O derywacji stylistycznej*. Gwara ludowa w funkcji języka artystycznego. Lublin, 1978.
5. *Sierociuk J. Pieśń ludowa i gwara*. Lublin, 1990.
6. *Bartmiński J. Dictionnaire ethno-linguistique polonais*//*Literary studies in Poland*. 1981. T. VIII. P. 157—172; *Bartmiński J. Stan prac nad słownikiem etnolingwistycznym* (do listopada 1986)//*Język a kultura*//Pod red. J. Anusiewicz i J. Bartmińskiego. Wrocław, 1988. T. 1. S. 339—347.
7. *Голстой Н. И.* Некоторые проблемы и перспективы славянской и общей этнолингвистики//*Известия АН СССР. Сер. литературы и языка*. 1982. Т. 41. № 5; *Голстой Н. И.* О предмете этнолингвистики и ее роли в изучении языка и этноса//*Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Язык и этнос*. Л., 1983; *Bartmiński J. Czym zajmuje się etnolingwistyka?*//*Akcent*. 1986. N 4(26); *Bartmiński J. Słowo wstępne*//*Etnolingwistyka*. Lublin, 1988. T. 1. S. 5—7.

¹²Ценным дополнением к корпусу источников по традиционной народной культуре Люблинщины является изданный в 1986 г. том «*Kolejowanie na Lubelszczyźnie*» (Wrocław), содержащий обзор святочной обрядности в ее региональном люблинском варианте и обстоятельные статьи, анализирующие репертуар колядных песен (рождественских и новогодних), записанных на всей территории Люблинского воеводства (в границах до 1975 г.), рождественские обходы (со звездой, с конем и т. п.) и театрализованные представления (героды, шопки и т. п.).

¹³Уже после сдачи в печать настоящей статьи автору стали доступны новейшие публикации люблинских ученых по этнолингвистике. Одна из них — изданный под редакцией Е. Барминского сборник статей «*Językowy obraz świata*» (Lublin, 1990), посвященный всестороннему обсуждению теории и практики изучения «языковой картины мира». Другая — монография самого Е. Барминского (Bartmiński J. «Folklor — język — poetyka». Warszawa; Wrocław; Kraków, 1990), обобщающая многолетние исследования автора в области языка фольклора, стиля и структуры фольклорных текстов. Обе работы заслуживают специального обстоятельного разбора.

8. Толстой Н. И., Толстая С. М. Принципы, задачи и возможности составления этнолингвистического словаря славянских древностей//Славянское языкознание. Доклады советской делегации к IX Международному съезду славистов. М., 1983; Этнолингвистический словарь славянских древностей. Проект словника и предварительные материалы. М., 1984.
9. Bartmiński J., Tokarski R. Językowy obraz świata a spójność tekstu//Teoria tekstu. Ossolineum, 1986. S. 72.
10. Bartmiński J. Stereotyp jako przedmiot lingwistyki (1)//Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej. Warszawa, 1985. T. III.
11. Grzegorzczkowa R. Władanie językiem a wiedza o świecie//Konotacja/Pod red. J. Bartmińskiego. Lublin, 1988. S. 126—127.
12. Цивьян Т. В. Языковые основы балканской модели мира. М., 1990.
13. Никитина С. Е. Словарь языка фольклора: принципы построения и структуры//X Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1988.
14. Bartmiński J. Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji//Konotacja/Pod red. J. Bartmińskiego. Lublin, 1988.
15. Bartmiński J. Definicja leksykograficzna a opis języka//Słownictwo w opisie języka. Katowice. 1984.
16. Разумовская Е. Н. Плач с «кукушкой». Традиционное необрядовое голошение русско-белорусского пограничья//Славянский и балканский фольклор. Этногенетическая общность и типологические параллели. М., 1984.
17. Топоров В. Н. Гора//Мифы народов мира. 2-е изд. М., 1987. Т. 1. С. 311—315; Топоров В. Н. Грибы//Мифы народов мира. 2-е изд. М., 1987. Т. 1. С. 335—336.
18. Арутюнова Н. Д. Метафора и дискурс//Теория метафоры. М., 1990. С. 22—26.
19. Агапкина Т. А., Усачева В. В. Бузина//Этнолингвистический словарь славянских древностей. Т. 1 (рукопись).
20. Гура А. В. Борона//Этнолингвистический словарь славянских древностей. Т. 1 (рукопись).
21. Bartmiński J. Założenia deskryptorowej systematyki tekstów folkloru//Literatura ludowa. 1979. N 4/6(24); Bartmiński J. Propozycja modelu tekstu dla celów wyszukiwawczych//Literatura ludowa. 1979. N 4/6(24); Bartmiński J. O rytualnej funkcji powtórzenia w folklorze. Przyczynek do poetyki sacrum//Sacrum w literaturze. Lublin, 1980; S. 257—266; Bartmiński J. Klasyfikacja gatunkowa a systematyka tekstów folkloru//Literatura popularna, folklor, język/Pod red. W. Nawrockiego i M. Walińskiego. Katowice. 1981. T. 2. S. 7—25; Bartmiński J. Dwie wersje tekstu pieśni ludowej: meliczna i recytacyjna//Pamiętnik literacki. 1987. T. LXXVIII. Z. 2. S. 185—206; Bartmiński J. Opozycja ustności i literackości a współczesny folklor//Literatura ludowa. 1989. N 1(33); Bartmiński J. La collection dans la structure thématique//Tekst ustny — Texte oral. Struktura i pragmatyka — problemy systematyki — ustność w literaturze. Wrocław, 1989; Adamowski J. Z badań nad segmentacją tekstu pieśni ludowej//Tekst ustny — Texte oral. Struktura i pragmatyka — problemy systematyki — ustność w literaturze. Wrocław, 1989; Adamowski J., Bartmiński J. Z problemów systematyki pieśni ludowej//Z problemów badania kultury ludowej. Katowice, 1988; Adamowski J., Żuraw G. Tradycyjne nazewnictwo gatunkowe folkloru wierszowanego//Literatura ludowa. 1979. N 4/6 (24); Czyżewski F. Jak zapisywać incipit pieśni?//Literatura ludowa. 1979. N 4/6 (24); Sierociuk J. Próba ustalenia rejonów folklorystycznych//Literatura ludowa. 1979. N 4/6(24); Ząbek S. Deskryptory tekstów folklorystycznych a komputerowe techniki wyszukiwania informacji//Literatura ludowa. 1979. N 4/6 (24).
22. Mazurkiewicz M. Kamień piorunowy w polszczyźnie i kulturze ludowej (Szkic hasła do Słownika ludowych stereotypów językowych)//Język a kultura. Wrocław, 1988. T. 1; Wężowicz-Ziótkowska D. Kochankowie z kalinowego lasu//Akcent. 1986. N 4 (26); Majer-Baranowska U. Deszcz i jego zapadniająca funkcja//Akcent. 1986. N 4 (26); Niebrzegowska S. Słońce raduje się — metafora czy mit?//Akcent. 1986. N 4 (26); Adamowski J. O semantyce góry//Akcent. 1986. N 4 (26); Kozioł M. «Gość w czerwonym płaszczu...»//Akcent. 1986. N 4 (26); Mazurkiewicz M. Kamień: dzieło Boga czy diabelska sprawka?//Akcent. 1986. N 4 (26); Bączkowska G. Ludowy duch wiatru//Akcent. 1986. N 4 (26); Niewiadomski D. Ziemia — materia aktów stwarzania//Akcent. 1986. N 4 (26).
23. Bartmiński J. Co się myśli, to się przysni. Reguły interpretacji obrazów w senniku ludowym//Polska sztuka ludowa. 1987. T. XLI. N 1—4.



ШИНДИН С. Г.

О ВОЗМОЖНОМ ПРИСУТСТВИИ РЕФЛЕКСОВ АРХАИЧЕСКОГО РИТУАЛА В РУССКИХ ЗАГОВОРАХ

Исключительное формальное и содержательное единство, характеризующее русские заговоры, делает вполне допустимым предположение о существовании некоего исходного «прототекста» — определенной системы представлений, которая манифестируется устойчивым набором мотивов и образов, объединяемых общим сюжетом. Установление отдельных компонентов этого сюжета позволяет реконструировать некоторые составляющие архетипического «прототекста» и выявить ряд прямо соотносящихся с ним стандартных словесных формул, на которых основывается (подчас полностью переосмысляя, выветривая их первоначальное значение) последующая заговорная традиция. Функцию промежуточного, опосредующего звена для «прототекста» и собственно заговора выполняет ритуал, вербальным эквивалентом которого оказывается заговорный текст, nasledующий не только словесную, но и несловесную часть ритуальной программы; но при этом и сам заговор по своей природе двуаспектен, поскольку одновременно связан и с мифом, и с ритуалом¹. В такой связи кажется оправданным сопоставление некоторых содержательных моделей, представленных в корпусе русских заговорных текстов, с соответствующими элементами универсальной схемы сотворения мира, отраженной в индоевропейской мифологии и регулярно воспроизводившейся в главных ритуалах годового цикла: конечная цель ритуала, как и конечная цель заговоров, — восстановление или установление космического равновесия, поэтому в обоих случаях прослеживается явная ориентация на прецедент — первоначальный акт творения.

Основопологающей для абсолютного большинства индоевропейских мифологических традиций может считаться фигура бога-первочеловека, созидającego космос из частей собственного тела, с ним же оказываются связаны и главные годовые ритуалы архаического коллектива. Обобщенная модель ритуальной программы этого типа предполагает расщепление жертвы, символизирующее распад мира на отдельные составляющие и возвращение к первоначальному хаосу, и последующую интеграцию космоса, упорядочивание его компонентов за счет отождествления определенных фрагментов вселенной с частями жертвенного тела². Таким образом, центральное место в ритуалах принесения

Шиндин Сергей Геннадиевич — аспирант Института славяноведения и балканистики РАН.

¹ В. Н. Топоров, говоря о смысловой конструкции заговоров, отмечает ее «принципиальную двунаправленность и даже разно-/противоположно-направленность. Заговор не сливается полностью ни с ритуалом-делом, оперирующим непрерывным, ни с мифом-словом, исходящим из дискретного. Но вместе с тем заговор пытается удержать преимущества, которые есть порознь у ритуала и мифа. В этом смысле одна из самых характерных особенностей заговора заключается в том, что он может работать в двух режимах одновременно» [1. С. 23].

² Самую общую характеристику архетипической фигуры первочеловека и связанного с ним ритуала см. в [2—5]. Непосредственно в применении к заговорам см. [6—7]. Некоторые аспекты данной темы затронуты в [8].

в жертву первочеловека занимают две операции — *р а с ч л е н е н и е* (жестовая часть) и *о т о ж д е с т в л е н и е* (словесная часть), причем за каждой из них стоит образ в е л и к а н а, заполняющего собой все существующее пространство. Описания ритуалов подобного рода в восточнославянской традиции не зафиксированы, однако целый ряд присутствующих в русских заговорных текстах структурных и семантических элементов (во многом определяющих формальную и содержательную специфику заговорного жанра в целом) может интерпретироваться как прямые отголоски соответствующих ритуальных действий и, следовательно, исходной системы представлений о доминантных признаках и качествах пространственно-временного континуума.

В связи с операциональной, жестовой частью ритуального акта особую роль приобретает группа заговоров, как правило, используемая при порезах для остановки кровотечения: именно в них встречается образ рассеченного тела, не мотивируемый логикой самого текста (см.: *Артемей праведный между церковью и олтарем разрушен и рассечен* [9. С. 73]; ср.: *Лежит Захарий праведный между церковью и олтарем* [9. С. 72]). В этой же группе заговорных текстов присутствует устойчивый мотив *с е ч е н и я м е р т в о г о т е л а*, явно перекликающийся с аналогичными ритуальными действиями: *в чистом поле едет человек стар, конь под ним кар, в руках держит саблю вострую и сечёт тело мёртвое* [9. С. 74]; *едет из чистого поля богатырь, везёт вострую саблю на плече, сечёт и рубит он по мёртвому телу* [9. С. 53]; ср. перенесение места действия из поля (т. е. реальной ритуальной площадки) на берег реки с последующей локализацией его в образе лодки: *В чистом поле течёт тридцать три реки, и две реки, и единая река — Черна-Смородина. По той реке, Черной-Смородине, бежит лёгкая малая лодка. В той лёгкой малой лодке сидит стар, матёр человек; голова у него бела, борода седа, везёт он наго, сине, мёртвое тело; в руках он держит длинну, востру саблю булатную. Той вострой саблей булатной сечёт и рубит он сине, наго, мёртвое тело* [10. Вып. 1. С. 134]. Как вырожденные, остаточные формы соответствующих ритуальных операций можно рассматривать широко представленные в русских заговорах описания типа: *Лежат кости мёртвые лошадиные и звериные и человеческие* [11. С. 78]; *далёко в поле мёртвых много* [9. С. 25]; *на острове Буяне лежат тридцать три мертвеца* [12. С. 72]; *есть в чистом поле под восточной стороной лежит белодубовая гробница, и есть в той белодубовой гробнице Июня мертвец* [9. С. 20] и под.; значительно реже встречаются случаи детального изображения ритуальных действий, связанных с рассечением жертвенного тела: *В чистом поле млад месяц народился; от млада месяца млад молодец сидит; молодец на вороном коне /.../. Держит молодец золотую кису и золотой топор, и булатный нож; на золотой кисе лежит часть мяса; сечёт ножом мясо и бросает на мой волок, на мой золотой стал* [13. С. 208]. Фигурирующий в текстах данного типа мужской персонаж может быть сопоставлен с функционально близким ему персонажем из заговоров, содержащих мотив *о т с т р е л и в а н и я б о л е з н и* или некоей угрозы, опасности вообще: *Ездит Иван Хоробёр Марьин сын, по Божию духу, и возит Иван Хоробёр Марьин сын копие булатное и стрелы булатные, колет и стреляет копием булатным и стрелами булатными с раба Божия (имярек) прикол и пристрелу и притчу всякую, урок и портёж* [14. С. 73]; ср. «христианизированный» вариант, явно имеющий глубоко архаичную основу: *сам Исус Христос, царь небесной, с громовой и молоньей и громовыми стрелами, и громом отбивает, и молоньей ожигает, и стрелами отстреливает уроки злые, прокосы всяки, /.../ лихие недуги, грыжи* [15. С. 213]; здесь же см. появление образа реки, опосредованно связывающее данный мотив с мотивом сечения мёртвого

тела: *Есть река Чёрная, на той на реке на Черной есть Черной муж, и у того Черного мужа есть черный лук и выстреливает из раба Божия (имярек) пристрел и присосы* [14. С. 75]³.

Важной особенностью приведенных сюжетных моделей является их косвенная соотнесенность с мотивом *извлечения внутренних органов*, слабые следы которого, засвидетельствованные русскими заговорами, восходят к жестовой части ритуального акта жертвоприношения: *едет из окяна моря человек медян, и конь под ним медян и лук медян и стрельё медное; и тянет крепко лук и стреляет метко. На мху стоит сосна золотая, на сосне золотой белка золотая. И прострелит медный белку золотую и вынимает у неё сердце булатное, расколёт напрое, наговаривает и заговаривает трои слова щепотные* [11. С. 98]. Настоящий мотив не закреплен ни за одной из функциональных групп заговорных текстов, однако встречается он достаточно часто; при этом обращает на себя внимание его ярко выраженная «анатомическая» природа, проявляющаяся в обязательном перечислении набора извлекаемых органов: *И ты когда, колдун и колдунья, ведун и ведунья, отречёшися сего свету, /.../ и когда опрокинешь на край небо, опрокинешь на край землю до железной подошвы, до трёх китов; и когда принесёшь от трёх китов ретивое сердце и с горячей кровию, и с мягкими лёгкими, и с чёрной печеню ко мне, рабу Божию* [10. Вып. 1. С. 30]; *Дай мне, господи, из чистого поля лютого зверя; поди, лютой зверь, к рабу божьему (имя рек); в воде под камнем выйми сердце с горячею печенюю, принеси мне, рабу божию* [13. С. 215]⁴. Вероятно, своеобразной остаточной, переосмысленной контаминацией мотивов рассечения тела и извлечения его внутренних органов выступают ситуации типа: *На мыри, на кияни, на вострави на Буяни, стаить зялезный сундук, а у зялезным сундуки лижать нажи булатныи.— «Падитя вы, нажи булатныи, к такому-та и сякому-та вору, рубитя яго тела, калитя яго сердца»* [17. С. 206]; *уж вы ветры буйные, мните и увядайте на дороге ходячего и на постели лижачего и на лавке сидячего раба божьего (имя), и подрежьте ему белую грудь и горячее мясо, подрежьте ему подпяточные жилы* [18. С. 28]; *Подите вы, семь ветров буйных, соберите тоски тоскучие со вдов, сирот и маленьких ребят, со всего света белого, понесите к красной девице (имя рек) в ретивое сердце; просеките булатным топором ретивое её сердце, посадите в него тоску тоскучую, сухоту сухотучую, в её кровь горячую, в печень, в составы, в семьдесят семь составов, и подсоставов, един состав, в семьдесят семь жил, единую жилу становую* [12. С. 3]. Таким образом, сохраняя описания конкретных операций, входивших в программу ритуального акта, русские заговоры практически полностью утрачивают их внутренний мифологический смысл, причем устойчивые архаические формулы в таком случае ощущаются как внешне не мотивированные, а образующиеся в них семантические «пустоты» заполняются совершенно новым, по преимуществу прагматическим содержанием (ср., например, ситуацию выбивания болезни, которую можно не только прямо сопоставить с мотивом отстреливания, но и считать в некотором смысле исходной для него: *На мари, на мари, на икани, стаиць ракитывый*

³ С мотивом отстреливания болезней ср. ситуацию их «выклевывания» железной птицей: *В Окяи-море пуп морской; на том морском пупе — белый камень Олатырь; на белом камне Олатыре сидит белая птица. Летала та белая птица /.../ и садились на буйную голову, на самое тшма: железным носом выклевывала, булатными когтями выцарапывала, белыми крыльями отмахивала призоры и наговоры, и тяжкую немочь* [10. Вып. I. С. 35] и под.; различные способы «отсоединения» болезней — изгнание, выкуривание, смывание, смахивание, передача и др. — достаточно подробно разобраны в [16].

⁴ Если говорить о конкретной приуроченности подобных описаний, то более или менее устойчиво они появляются в любовных заговорах, для мифологического сознания вряд ли отделимых от идеи плодородия, социального и биологического «достатка», на сохранение или возвращение которого направлен главный ритуал годового цикла.

куст, на тым кусты ляжить гол каминь, на тым камни сидять 12 малодцоу, 12 богатыреу, диржать 12 малатоу, бьють, как день, как ночь, выбивают чемирь з рыжий шерсти, из буйный галаве, из ярких вачей, из жил, из пажил, из лёхкыга вздыхания [17. С. 192]⁵).

Анатомическая природа заговоров проявляется и в мотиве *изгнания болезни*, в полной своей форме имеющем подробное, развернутое описание телесного строения и состава человека; см. обращение к Иисусу Христу: *Сохрани и очисти всяку болезнь, всяку скорбь, всяку немощь /.../ с раба божия (имрек) — с буйной головы, с ясных очей, с сахарных уст, с рук и с ног, и могучих плеч и с белых грудей, с ретивого сердца, с бурой печени, с легких и с селезня, с семидесяти жил, с семидесяти составов, с семидесяти жил подпятных, с головы да в тулово, с тулова в ноги, с ног в подошвы, а с подошв в сыру землю* [15. С. 217]; ср. в любовном заговоре: *разгоралась отроковица (имя рек), разгорались ясные очи и чёрные брови, и румяное лицо, сахарные уста, ретивое сердце и горячая кровь, чёрная печень, семьдесят жил и семьдесят суставов и семьдесят один сустав* [9. С. 15]. Отличающее подобные модели нисходящее «движение», проявляющееся в организации описания сверху вниз, может интерпретироваться как распадение телесного состава человека, разъединение его элементов, восходящее к ритуальным действиям и символизирующее развеществление, распад универсума и возвращение к состоянию первоначального хаоса [7. С. 29—31]. Характерной особенностью русских заговоров является то, что, в отличие от большинства индоевропейских традиций, содержащих развернутое, номенклатурное изображение человеческого тела и всех его составляющих, в них чаще всего фигурируют собственно внутренние органы тела человека или животного, причем почти обязательно с ними соотносятся режущие и колющие орудия из металла. Можно, кажется, говорить о том, что восточнославянская традиция, не сохранив или полностью переосмыслив комплекс универсальных представлений о жертвоприношении первочеловека, довольно точно зафиксировала его главные семантические координаты, во всяком случае — операциональную, жестовую часть ритуальной программы. В данном контексте особую роль приобретает широко распространенный мотив *рассечения змеи*, предполагающий не только акт расчленения (см.: *будим просить Михайлу Архангилу зялезным жезлым, штоб вас и пасечь, и пурубить, и у грудях пупалить* [17. С. 187]), но, что особенно важно, и разнесение в разные стороны; см. полесский заговор от укуса змеи: *будзем твае жалы залатыми клышчами вырываць, малатами разбиваць, на коллю растыкаць и на ростанях раскидаць* [20. С. 137]⁶. Возможно,

⁵ Ср. «подрезание» болезни: *Булатный нож, подрежь чёрную болезнь в ретивом сердце, в мозгах, костях и жилах* [12. С. 234], — и изофункциональное ему «отстрижение»: *Как в чистом поле Акиян святое синее море; во Акияне святом синем море бел Златырь камень. Как в белом Златаре камени стоит золот стул, на золотом стуле сидит святая Мария, на золотом стуле, она, святая Мария, обрезаывает, дух святыи остригает и обрезаывает с раба Божья (имярек) прикосы, призоры, уроки* [10. Вып. I. С. 31]. Сходные смысловые конструкции, вероятно, призваны объяснить, внести узнаваемое логическое объяснение в обрядовые действия, исходный мифологический смысл которых традицией утерян; как возможное перенесение конкретных ритуальных операций с жертвы на материальный объект см. иногда встречающиеся описания типа: *Бери булатную секиру, руби дубовые дрова, коли-выкалывай дубовое сердце* [19. С. 81]; несколько подробнее о мотиве рассечения камня и дерева в ритуальной перспективе см. в работе автора «Особенности пространственной организации мира в русских заговорах» (в печати).

⁶ Приводя структурно и семантически близкий заговор от змей (*Да приезде Михаил-Архангел, будзе твае косыци ламаци, на тычинику растыкаци /.../ иш ссечь табе галаву с плеч, иш зрубае*), Н. И. Толстой высказывает мысль о том, что рассечение и разбрасывание костей должно предотвратить ситуацию «воскрешения, вторичного воплощения „ужа“ (змеи)» [20. С. 138]; вероятно, речь все же должна идти о более архаической модели, согласно которой расчленение жертвенного тела предполагает «возвращение» не самой жертвы, выступающей только в функции заместителя сакрального «первотела», а некоего космического равновесия. В этой связи ср. замечание Т. В. Цивьян о жертвоприношении в мифопоэтической перспективе вообще: «Для того, чтобы возрождение было наиболее полным и триумфальным, предшествующее ему уничтожение также должно быть полным, окончательным» [21. С. 130].

именно в описаниях подобного рода следует видеть рефлекс присутствовавшей в архаическом ритуале идеи о необходимости разнесения, разбрасывания частей жертвы, отождествляемых затем с определенными участками вселенной. Одновременно с этим мотив рассечения змеи выступает и как один из компонентов основного мифа, ключевым эпизодом которого является поединок верховного бога со змеем и победа над ним; данный фрагмент с абсолютной точностью воспроизведен в восточнославянской заговорной традиции⁷. Таким образом, мотив рассечения змеи по своему происхождению оказывается двuasпектен, а его включение в смысловую структуру заговора актуализирует и ритуальную, и мифологическую природу текста, что нейтрализует противопоставление слова и действия, а на более абстрактном уровне — дискретного и непрерывного начал (с явным преимуществом в пользу последнего)⁸. В свою очередь, «непрерывность» заговора обнаруживает глубинную связь с архетипической идеей воскрешения, возрождения, — т. е. постоянного, циклического обновления, повторения в более высоком статусе, что составляет содержательную основу главного годового ритуала.

Наиболее отчетливо идея воссоздания упорядоченного космоса проявляется в заключительной части ритуальной программы; на операциональном уровне это выражается в соединении, складывании частей жертвы в соответствии с правилами их отождествления с конкретными участками вселенной. В русских заговорах можно найти лишь слабые следы подобных представлений, причем указания на космогонический характер соответствующих действий практически не встречаются; более того, как правило, отсутствует и предшествующая воссозданию ситуация разъединения жертвенного тела (см. немногочисленные примеры типа: *в чистом поле тернов куст, под тем кустом змий, и аз змия пересеку и складу тело с телом, состав с составом, жилу с жилую* [26. С. 164]). В качестве остаточных, рудиментарных форм исходных представлений можно рассматривать регулярно встречающийся в любовных заговорах мотив *соединения двух тел*, акцентирующий момент телесной, «анатомической» неотделимости персонажей, что реализуется клишированными формулами типа: *распалите и присушите медным припоем рабу (имя рек) ко мне, рабу Божию. Сведите ее со мною — душа с душою, тело с телом, плоть с плотью* [12. С. 1]; *тело с телом, кость с костью, жила с жилую* [12. С. 168]; *тело к телу, мясо к мясу, жила к жиле, кость к кости, /.../ сустав к суставу, сердце к сердцу, печень к печени* [10. Вып. II. С. 30] и под.⁹ Иногда эта конструкция осложняется за счет подключения к ней мотива *сшивания* (см., например: *Сошью я тело — с телом, мясо — с мясом, кожу — с кожей* [28. С. 20]), устойчиво присутствующего в заговорах, употребляемых для остановки кровотечения: *Есть Святое море-окиян, есть среди моря-окиана бел камень алатырь, и сидит на белом камени красная девица /.../ и приходит к рабу Божию имярек, зашивает рану сию кровавую* [14. С. 81]. Характерно, что мотив сшивания оказывается соотнесен с мужским персонажем (*есть среди моря-окиана бел остров, на белом острове бел*

⁷ Об отражении восточнославянскими заговорами ведущих структурных элементов основного мифа см., например [22—24].

⁸ См. замечание В. Н. Топорова о том, что «заговоры от укуса змеи восходят к словесной части „медцинского“ ритуала, представляющей собой трансформированную версию „основного“ мифа (или с ним тесно связанную и на него опирающуюся)» [25. С. 118].

⁹ Мотив телесной целостности, единства, характеризующий данные структуры, универсален для всей индоевропейской заговорной традиции (см. [22. С. 15—20]), при этом чрезвычайно важно включение в него образов костей, суставов и т. п., косвенно указывающее на архаическую природу этих описаний (см., например: *Есть в море-окиане стоит бел камень, и выходит на тот бел камень стар человек на исцеление и на избавление болезни, прикладывает кость к кости* [14. С. 80]); об исключительном древнем характере подобных конструкций свидетельствует и присутствующий в них кумулятивный, «присоединительный» тип связи структурных и семантических компонентов (см. [27. С. 82—85]).

муж, у белого мужа золотая иголка и нитка шёлковая; /.../ зашивает рану с краю на край, с конца на конец [11. С. 96]), отдаленно напоминающим аналогичного представителя сверхъестественной иерархии, фигурирующего в мотиве рассечения мертвого тела: *На синем море синий камень, на нём конь карий; на коне сидит человек старый, держит в руках иголку золотую, ниточку шелковую* [10. Вып. II. С. 75]. Высокая частотность этого мотива может служить косвенным указанием на его особую значимость для мифологического сознания; исключительно важна функциональная направленность и тех текстов, в которых он обнаруживается: даже если связь мотива с(за)шивания с заговорами от кровотечения закрепилась уже в историческую эпоху, ее «протомедицинская», анатомическая, а, следовательно, ритуальная природа очевидна.

Прямое отождествление частей человеческого тела с пространственными формами, обязательное для космогонических текстов, исполнение которых было приурочено к главному годовому ритуалу, в русских заговорах практически не встречается; остаточными следами такого отождествления могут считаться, во-первых, редкие примеры типа: *Язык — проветчик, зубы — межа, глаза — вода, лоб — бор* [10. Вып. II. С. 101]; *тело мое — земля, а кровь моя черна* [12. С. 274] и т. п., и, во-вторых, случаи, когда герой заговора стремится уподобиться отдельным элементам вселенной, приобрести набор присущих им качеств: *дай же мне, Господи, красоту светлого солнца, зрение от облака-света, очи от быстрой реки; /.../ от грозной тучи страх, от страшного грома храбрость, от буйного ветра быстрость* [29]¹⁰. Даже если подобные формы имеют «постмифологическое» происхождение, содержащаяся в них идея взаимосвязанности, взаимопроницаемости макрокосмического (пространственно-временной континуум) и микрокосмического (человек) начал, их определенной тождественности имеет глубокие архаические корни. С фигурой первочеловека, очевидно, связан и заговорный мотив *о мовения и одевания*: существенной чертой данной процедуры, несущей в себе отголоски соответствующих ритуальных действий, является возможность экспликации ее вертикальной ориентированности, при которой с каждой частью человеческого тела соотнесен тот или иной элемент мироздания: *выйду в чистое поле, умоюсь я, раб Божий (имя рек), водою и росою, утруся тканым пряденым и встану я, раб Божий (имя рек), между небом и землёю; отынюся частыми звёздами, подпояшуся белым светом; замкнуся я, раб Божий (имя рек), младым светлым месяцем* [10. Вып. I. С. 52]; *Земля мать, небо отец /.../; красное солнце в очи вставлю, млад светел месяц в тыл положу, частыми звёздами подтычусь* [9. С. 3]; *раб Божий /.../ умоется /.../, утрётся белым светом; во лбу пекёт красное солнце, в затылке светлый месяц, по косицам мелкие звёзды рассыпаются* [12. С. 214] и т. п. Возможно, что с подобными формулами и стоящими за ними представлениями косвенно связаны развернутые, «номенклатурные» перечисления стихий, небесных тел, реальных участков ландшафта, первоначально представлявшие собой упорядоченные космогонические модели; см., например: *Попрошу я белого кречета; слетал бы он в чистое поле, в синее море, в крутые горы, в тёмные леса, в зыбучие болота* [9. С. 18]; *пойду /.../ в чистое поле, в восточную сторону, под красное солнце, под млад месяц, под частые звёзды, под утреннюю зарю* [12. С. 211]; ср. явную вертикальную ориентированность с отчетливым движением сверху вниз: *зачинается свет*

¹⁰Ср. использование космических составляющих в заговорах с так называемыми «параллельными» конструкциями, построенных нередко на уподоблении некоей ситуации или ее участника небесным светилам, ландшафтным зонам, ветрам, грому и т. д.

от небесной высоты, от земной широты, от морской глубины [9. 54]¹¹.

С максимальной полнотой идея тесной взаимозависимости макрокосма и микрокосма воплощается в фигуре первочеловека, «перевоссоздание» тела которого происходит в процессе совершения ритуала. Важнейшим внешним признаком бога-первочеловека является его космическая необъятность, способность заполнять собой все существующее мировое пространство без остатка. В русских заговорных текстах аналогичный образ возникает исключительно редко (см.: *Сядить багатырь агромный и магущий. Сядь, багатырь, ни кверху, ни книзу, ни на стырыну! Над табою стыять тучи грозныи, пад табой стаить моря синия* [17. С. 210]), что ни в коей мере не означает отсутствия его в границах традиции вообще. Кроме того, семантическим трансформом фигуры первочеловека, возможно, выступает мужской персонаж, располагающийся на объектах с ярко выраженной устремленностью вверх и символизирующий собой нерасчлененный, целостный космос: *Есть море океан; на том море-океане стоит столб, на том столбе стоит царь, высота его с земли и до небеси, и от востока и до запада, и от юга и до севера* [31]; *есть море каменное; на том море стоит каменный столп и на том столпе стоит каменный муж: высота его от земли до небеси, широта его от востока до запада* [32]¹². Как искаженные, частично разрушенные формы образа первочеловека могут рассматриваться семантически близкие случаи помещения мужских персонажей, не наделяемых качеством пространственной безграничности, на вертикально ориентированные объекты — гору, столб, лестницу и, что особенно важно, дерево: *Есть в западной стороне море Чёрное; на том же море есть остров; на том же острове выросло дерево, на том же дереве /.../ сидит железен муж* [9. С. 9]; ср.: *стоит сырой дуб, и в том сыром дубе железный муж* [12. С. 124]¹³. К аналогичным конструкциям, вероятно, должны быть отнесены и редкие примеры появления образа летающего мужского персонажа, в пространственном отношении занимающего промежуточное, срединное положение: *Есть море окиян; на том море окияне есть остров золот, на том золотом острове муж золот. Ездит тот муж золот на своём золотом коне от востока и до запада, от севера и до лета, а поднимается на небо на воздуши, а страстит под собою землю и воду* [11. С. 110]; как возможное присутствие в данном контексте отголосков мотива рассечения мертвого тела см.: *В синем море-океане лежит синь златый камень, на том златом*

¹¹ В данном контексте появляется возможность вернуться к уже упоминавшимся близким по своему строению описаниям состава человеческого тела, «восходящее» движение в которых могло выражать процесс синтеза, упорядочивания космической материи, происходящий после разъятия жертвы; см. белорусский заговор, направленный на изгнание болезни из щраго сердца, з рацываго живота, с чорныя печани, з белаго лёхкаго, с потроха, з голосной гортани, з ясных вочей, из слуховых ушей, з бочыных ноздрей, из буйных головы, из белых рук, из резвых ног [30]. Ориентированности вверх ни в коей мере не противоречит появление в заключительном фрагменте текста образов белых рук и резвых ног: во-первых, возможны частичные искажения строго регламентированного порядка в более позднее время (ср. случаи неоднократного упоминания одних и тех же частей тела в таких конструкциях), и, во-вторых, описание легко членился на три отрезка (собственно тело, голова и руки и ноги), внутри которых уже выстраиваются «горизонтальные» ряды. Таким образом, на более абстрактном уровне данный тип описаний можно считать рефлексом той стадии ритуального акта, на которой происходило восстановление, воссоздание космического тела первочеловека (см. [7. С. 30 — 31]); в то же время структурная близость развернутых перечислений частей человеческого тела и элементов вселенной неявно свидетельствует об определенной тождественности их друг другу.

¹² К перенесению качеств первочеловека на героя заговора (его заказчика или исполнителя) см. приведенный выше мотив омовения и одевания.

¹³ Мотив нахождения заговорного персонажа на дереве, изоморфном мировому дереву, одновременно отсылает и к типологически близкому обряду, встречающемуся в практике сибирского шаманизма (см. [33]) и к функциональному равенству мирового дерева и Пуруши (см. [34]). В связи с традицией шаманизма ср. роль ситуации рассечения тела шамана в обрядах посвящения; см. [35].

латыре камне лежит тело мёртвое, над тем телом мёртвым стоит синь облак, над тем синим облаком летает муж синь. Тот синь муж стреляет стрелами калёными во врагов [36]. Можно предположить, что на ранних стадиях функционирования заговорных текстов все эти мотивы составляли единое смысловое целое, организующим началом в котором выступал именно мужской персонаж, наделяемый признаками бога-первочеловека и атрибутами бога-громовержца в одно и то же время. В целом же ситуация пространственной необъятности актуализирует перформативную природу самого заговорного текста, наделяемого сходными качествами (см.: *будь мой заговор от востока до запада, от седьмого неба и в третью бездну* [12. С. 262]; *поставите, государи мои, словеса в словеса, /.../ а кое слово назади, то б было слово на передо от востока до запада, а от западу до востоку, от земли и до небесе, а от небеси и до земли* [11. С. 112]), что устанавливает известное тождество не только заговора и ритуала, но и, в некотором смысле, заговора и самой фигуры первочеловека.

Таким образом, универсальная архетипическая схема распада и интеграции мироздания, включающая в себя представления о существовании божественного тела, изоморфного вселенной, сохраняет актуальность и для русской заговорной традиции. Можно почти с абсолютной уверенностью утверждать, что определенные функциональные классы заговорных текстов четко зафиксировали структурные и семантические детали этой схемы, вследствие чего становится возможной ее поэтапная реконструкция. Одновременно с этим, ритуально-мифологическая природа русских заговоров позволяет восстановить отдельные содержательные блоки, которые были утрачены или искажены в ходе практического применения текстов в процессе их бытования внутри традиции, с одной стороны, и прояснить те смысловые звенья, которые ввиду своей глубоко архаичной основы не поддаются логическому объяснению, с другой стороны. На более общем уровне, вероятно, должен быть поставлен вопрос о вычленении из всего корпуса восточнославянских заговоров тех функциональных групп, в которых наиболее отчетливо сохраняются архетипические черты, и о создании на их основе «словаря» заговорных мотивов с ярко выраженной ритуально-мифологической окраской, что даст возможность не только максимально приблизиться к исходному «прототексту», но и проследить наиболее употребительные способы его перевода в конкретные тексты. Подобный подход, очевидно, мог бы стать достаточно надежной основой для диахронического описания системы семантических преобразований, функционировавшей в восточнославянских заговорах с момента их возникновения и обеспечившей им высокую жизнеспособность в исторической перспективе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Топоров В. Н.* О статусе и природе заговора (теоретический аспект)//Этнолингвистика текста. Семантика малых форм фольклора: Тезисы и предварительные материалы к симпозиуму. М., 1988. Ч. I.
2. *Мочульский В.* Историко-литературный анализ стиха о Голубиной книге. Варшава, 1887.
3. *Франк-Каменецкий И.* Адам и Пуруша. Макрокосм и микрокосм в иудейской и индийской космогонии//Памяти акад. Н. Я. Марра (1864—1934). М.; Л., 1938.
4. *Топоров В. Н.* О двух типах древнеиндийских текстов, трактующих отношение целостности — расчлененности и спасения//Переднеазиатский сборник. Вып. 3: История и филология стран древнего Востока. М., 1979.
5. *Топоров В. Н.* Пространство и текст//Текст: семантика и структура. М., 1983.
6. *Елизаренкова Т. Я., Топоров В. Н.* К структуре АВ X.2: опыт толкования в свете ведийской антропологии//Литература древней и средневековой Индии. М., 1987.
7. *Топоров В. Н.* Об одном латинском заговоре (Tabella defixionis in Plotium). К реконструкции архаичного ритуального «анатомического» протекста//Этнолингвистика

- текста. Семиотика малых форм фольклора: Тезисы и предварительные материалы к симпозиуму. М., 1988. Ч. I.
8. Шиндин С. Г. Миф о сотворении мира и русские заговоры//Известия АН ЛатвССР. 1989. № 10. С. 79 сл.
 9. Ефименко П. С. Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии. Ч. 2. Народная словесность//Известия Имп. Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете. Т. XXX. Труды этнографического отдела. Кн. 5. Вып. 2. 1878.
 10. Виноградов Н. Н. Заговоры, обереги, спасительные молитвы и проч.//Живая старина, 1907. Вып. I—IV. 1908. Вып. I—IV.
 11. Срезневский В. И. Описание рукописей и книг, собранных для Имп. Академии Наук в Олонецком крае. СПб., 1913.
 12. Майков Л. Великорусские заклинания//Записки Имп. Русского географического общества по отделению этнографии. СПб., 1869. Т. II.
 13. Заговоры (Вологодского края)//Сказки, песни, частушки Вологодского края. Сев.-зап. кн. изд-во. 1965.
 14. Машиновский Л. Заговоры и слова по рукописи XVIII века//Олонецкий сборник: Материалы для истории, географии, статистики и этнографии Олонецкого края. Петрозаводск. Вып. I. 1875—1876.
 15. Приметы, загадки, предсказания, заговоры//Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. В 3 т. Петрозаводск, 1991. Т. 3.
 16. Петров В. П. Заговоры//Из истории русской советской фольклористики. Л., 1981. С. 98—106.
 17. Добровольский В. Н. Смоленский этнографический сборник. Ч. I//Записки Имп. Русского географического общества по отделению этнографии. СПб., 1891. Т. XX.
 18. Соболева А. Народные наговоры и заговоры//Бюллетень Северо-Восточного областного бюро краеведения. 1926. № 3. С. 28.
 19. Минх Н. А. Народные обычаи, обряды, суеверия и предрассудки крестьян Саратовской губернии. СПб., 1890.
 20. Толстой Н. И. Из наблюдений над полесскими заговорами//Славянский и балканский фольклор: Духовная культура Полесья на общеславянском фоне. М., 1986.
 21. Цивьян Т. В. Образ и смысл жертвы в античной традиции (в контексте основного мифа)//Палеобалканистика и античность. М., 1989.
 22. Топоров В. Н. К реконструкции индоевропейского ритуала и ритуально-поэтических формул (на материале заговоров)//Труды по знаковым системам. Тарту, 1969. Вып. IV. С. 31 сл.
 23. Судник Т. М. К описанию структуры одного белорусского (восточнополесского) заговора//Текст: семантика и структура М., 1983. С. 189 сл.
 24. Неаская Л. Г. О заговорной реализации одного эпизода основного мифа//Этнолингвистика текста. Семиотика малых форм фольклора: Тезисы и предварительные материалы к симпозиуму. М., 1988. Ч. I.
 25. Топоров В. Н. Об одной группе сербско-хорватских заговоров (еще раз об идее возвратности)//Балканский сборник I. Симпозиум по структуре текста: Тезисы и материалы. М., 1990.
 26. Якушкин Е. И. Молитвы и заговоры Пошехонского уезда Ярославской губернии//Труды Ярославского губернского статистического комитета. Вып. V. Ярославль, 1868.
 27. Топоров В. Н. К происхождению некоторых поэтических символов. Палеолитическая эпоха//Ранние формы искусства. М., 1972.
 28. Серебренников В. Н. Народные заговоры, записанные в Оханском уезде Пермской губернии. Пермь, 1918.
 29. Барсов Н. И. К литературе об историческом значении русских народных заклятий//Русская старина. 1893. Кн. 1. С. 217.
 30. Романов Е. Р. Белорусский сборник. Вып. V. Заговоры, апокрифы и духовные стихи. Вчтебск, 1891. С. 147.
 31. Майков Л. Н. Заговоры донских казаков (из рукописного сборника конца XVII века)//Живая старина. 1891. Вып. 3. С. 136.
 32. Тихонравов Н. Летописи русской литературы и древностей. М., 1860. Т. 2. Кн. 4. С. 104.
 33. Топоров В. Н. О структуре некоторых архаических текстов, соотносимых с концепцией «мирового дерева»//Труды по знаковым системам. Вып. 5. Тарту, 1971. С. 17.
 34. Иванов Вяч. Вс. Опыт истолкования древнеиндийских ритуальных и мифологических терминов, образованных от аśva «конь» (жертвоприношение коня и дерево aśvattha в древней Индии)//Проблемы истории языков и культуры народов Индии. М., 1974. С. 77—78 сл.
 35. Новик Е. С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме: Опыт сопоставления структур. М., 1986. С. 198 сл.
 36. Перегудов А. Гуслица//Новый мир. 1927. № 6. С. 196.



КАТЕГОРИЯ ОДУШЕВЛЕННОСТИ В ДРЕВНЕНОВГОРОДСКОМ ДИАЛЕКТЕ

1. Исследование новгородских письменных источников XI—XV вв., и прежде всего берестяных грамот, достаточно адекватно отражающих живую разговорную речь, позволяет утверждать, что для древненовгородского диалекта было характерно следующее распределение флексий ИП и ВП¹ ед. ч. *о-склонения в мужском роде:

*о	*jo
ИП -е	-е (-ь)
ВП -ь	-ь (ср. [1. С. 129—134; 2; 3]) ² .

Из этой таблицы явствует, что, в отличие от всех прочих славянских диалектов, древненовгородский сохранял восходящую к праиндоевропейскому периоду противопоставленность форм номинатива и аккузатива ед. ч. Отсюда, в свою очередь, следует вывод, что северо-западные говоры не нуждались в разграничении указанных форм путем использования РП в роли ВП, т. е. не знали грамматической категории одушевленности. (Правда, в *и- и *i-склонениях омонимия ИП и ВП существовала, однако немногочисленность относящихся к ним семантически одушевленных masculina и отсутствие форм, способных однозначно выражать прямообъектное значение, препятствовали преодолению этой омонимии).

1.1. Наиболее показательны в рассматриваемом аспекте, безусловно, берестяные грамоты. Поскольку нормой для них является ИП на -е, можно а priori предположить, что в ВП у одушевленных существительных господствует флексия -ь (-Ø). Действительно, в ранних (XI — начало XIII в.) грамотах на восемь форм В=Р приходится 15 с исконным ВП³. При этом,

Крысько Вадим Борисович — докторант Института русского языка РАН.

¹ В статье приняты сокращенные обозначения падежей: ИП — именительный, РП — родительный, ВП — винительный, В=Р — ВП в форме РП, В=И — ВП, равный ИП. При цитировании подряд нескольких примеров из одного источника его сокращенное обозначение указывается при первой цитате, а при последующих — только номер грамоты (для НГБ, ГВНП, ПГ), лист рукописи (для ЛН, РПр, УСб) или страница/столбец издания (для прочих памятников). Графическая подача иллюстративного материала упрощена.

² Примеры с -е в ИП мягкого варианта, типа *крьвавь моуже* РПр, 617в, рассматриваются в [4].

³ Во внимание не принимаются безглагольный В=Р, неоднократно зафиксированный в церковных поминаниях и заказах на иконы (см. [1. С. 92]), а также грамматически неясные формы, представленные во фрагментированных текстах (*Давыда* НГБ № 33, *Жи[г]аля* 496, *Онтана* 26).

однако, ряд примеров с В=Р явно не отражает особенностей новгородской речи. Это относится, во-первых, к конструкции: а хоцоу ти *выроути* въ тя лоуцьшаго *новъгорожянина*, — представленной в «заведомо не новгородской» грамоте № 246 [5. С. 68], о чем свидетельствует, в частности, сам катойконим *новъгорожянинъ*, «отличающийся от совершенно устойчивого новгородского самоназвания *новъгородьць*» [1. С. 171]. Во-вторых, заставшей традиционной формулой является оборот *а я за вы б(г)а молю*, зафиксированный «в тексте с церковной окраской» [1. С. 211] — НГБ № 503. Конструкция *какo ти было я Ивана яль* отмечена в НГБ № 502, характеризующейся «сознательной ориентацией на стандартный древнерусский язык» и полным отсутствием морфологических признаков древненовгородского диалекта [6]. Сочетание с В=Р наблюдается также в грамоте № 531, которая, за исключением единичных новгородизмов — (о(т) *Ане*, 3-е л. мн. ч. *боудоу*), демонстрирует последовательное использование общерусских (и восточноновгородских, см. [5. С. 72]) -ъ-форм (графически -о) в ИП — т. е. на самом «диагностирующем» для ВП участке деklinационной системы, ср.: не зєря на *Федора* — возложило, назовало, *Федо*, *Коснятино* и т. д.

В итоге лишь четыре контекста с В=Р, засвидетельствованные в ранних грамотах с яркими новгородскими чертами, дают возможность судить о наличии данной формы в древненовгородском диалекте XI — начала XIII в.: *а продаи клеветьника того... побити клеветьни[ка]* НГБ № 247 (там же: *а замьке кѣле а двѣри кѣлѣ*); (*м*) [ол]и *Воньзда шюрина* и *моєга оти выволоци доскѣ 82* (новое прочтение)⁴; *сь сталь бьшь Коузма на Здылоу и на Домажировица 510* (там же: *пороуцьнѣ*, ВП мн. ч. *кобыль (-ѣ)*, *Домажирь побѣгль*). Заслуживает, однако, внимания тот факт, что в двух случаях генитивно-аккузативная форма принадлежит именам собственным, которые, по-видимому, были наиболее склонны к усвоению новой флексии.

Ситуация с ВП на -ѣ/-ь на первый взгляд как будто подтверждает традиционное мнение о социально обусловленном характере этой формы; в четырех контекстах фигурируют названия животных (*коне коупивѣ 109*; *продаите половьи конь 160*; *вѣдаи паробькоу семоу конь полоубоувѣ же шизьи 735*; *а ты продае коне 163*), еще в нескольких примерах — наименования «социально неполноценных людей» [1. С. 129]: *заожеричѣ отрокѣ лони крили Свинцѣ*; *молвяте вытоло изловили «бродягу» 600*; *а присоли соно [вм. сыно] ко мене 705* (в этом случае закрепление В=Р сдерживалось деklinационным своеобразием *и-основных существительных, см. 1.2); *нарядите же мужь 160* (впрочем, значение существительного здесь довольно абстрактно: «пошлите человека»); ср. также *мужь прияли 724*. Весьма сомнительна, однако, социальная неполноценность таких лиц, как судебные исполнители (али ти не дасть *а пристави на нь отро[к]ѣ* Ст. Р. 15; али чимо есемо виновата *а восоли отроко 644*; *а послоу н(а) тя ябьтъникѣ 421*⁵) или *кѣняжѣ мужь* — по определению словаря, «княжеский дружинник, обычно наиболее уважаемый, старший представитель княжеской дружины» [8] (*а се ти хоцоу. коне коупивѣ. и кѣняжѣ моужѣ вѣсадивѣ. та на съводи 109*). Едва ли связано с социальной ролью зятя двукратное употребление формы *за зяте* при фразеологическом сочетании

⁴ Материал неопубликованных и новые прочтения и датировки ранее изданных берестяных грамот приводятся по [7] и лекциям А. А. Зализняка.

⁵ Ср. комментарий А. В. Арциховского к слову *ябетникѣ* в НГБ № 235: «...это была довольно важная должность: ябетник имел своего бирича».

дала роукоу в НГБ № 531: даже если допустить наличие В=Р от этого *i-основного существительного в новгородской речи на рубеже XII—XIII вв. (на что мог бы указывать следующий фрагмент из ЛН, 98об. под 1224 г.: оста .ѣ. воеводѣ... на Мьстисла(в). и на зяти его. на Андрѣя, — отмеченный, однако, в повествовании о битве на Калке, лишенном ярких диалектных черт, стилистически книжном), в данном случае более вероятной причиной сохранения старой формы представляется задерживающее влияние предлога. Наконец, как показало наше исследование [9], и при названиях животных В=Р в древнерусских памятниках XI—XIII вв. отнюдь не был явлением уникальным, ср.: *показоваша же и намъ того пса* СП, 256; *аще и льва хоуиуть къто* ГБ, 61; *свративъ коня* УСб, 60г. Таким образом, ВП на -ѣ/-ѣ в ранних берестяных грамотах функционирует не как семантически обусловленная форма, а как закономерный оппозит ИП на -е, ср.: *отроко — водаде* 644; *свободне еси — ябтьньникъ* 421; *продае коне (-ѣ) — истьряле — лихе* 163; *послале Негане — вытоло (ВП) — вытоле (ИП)* 600.

Впрочем, в некоторых грамотах строгая корреляция между номинативом на -е и аккузативом на -ѣ не прослеживается. Иногда это объясняется отсутствием самой формы ИП, тогда как другие признаки с несомненностью доказывают древненовгородский диалектный характер грамоты: так, в НГБ № 160, наряду с ВП *конь, мужь*, обращает на себя внимание форма *ризи* «рыжий», а также ВП мн. ч. *р(ѣ)з(а)нѣ*. Аккузатив *мужь* зафиксирован на внешней стороне грамоты № 724, отличающейся от внутренней стороны господством книжных морфологических черт; однако данная форма находится ближе к концу внешней стороны и, возможно, представляет собой первое проявление того постепенного перехода писца к собственно новгородской морфологии, который отразился двумя строчками ниже в форме 3-го л. *състане* (без -тъ), а при продолжении текста на внутренней стороне — в формах РП *отъ [М]ъс(т)ѣ*, ВП мн. ч. *учястокѣ*, 3-го л. *буд[е]* и перфектах на -е — *водаде, послале*. Для грамоты № 109, при отсутствии специфических новгородских примет (ср.: *коупиль, възаль*, см. [1. С. 190]), винительные *коне (-ѣ)* и *княжь моужь* могут считаться дополнительным аргументом в пользу ее новгородского происхождения, хотя устойчивое сохранение в книжном языке параллельных форм В=И и В=Р от некоторых одушевленных существительных, и особенно названий животных [9. С. 42], не позволяет признать этот критерий решающим; ср., однако, в РПр: *Аже кто оубиеть князя моужа* 615г — и еще пять примеров В=Р от *мужь*.

С учетом существования оппозиции ИП на -е/ВП на -ѣ представляется справедливым мнение А. В. Кузы и А. А. Медынцевой, согласно которому в свинцовой грамоте (...заожеричъ отрокъ лони крили соуждальць Ходоутиничъ...) речь идет о покупке холопа-отрока из Заозерья [10]: псковская диалектная окраска грамоты (заожеричъ) наводит на мысль о том, что указанное морфологическое противопоставление, скорее всего, было актуально для говора ее писца. Следовательно, -ѣ-формы *заожеричъ отрокъ* должны рассматриваться как ВП (в отличие от закономерного ИП *отроке*). С другой стороны, аккузативная трактовка словосочетания *соуждальць Ходоутиничъ*, заставляющая видеть в нем дистантно расположенное приложение к дополнению *заожеричъ*, создает трудно преодолимое семантическое препятствие — приходится предполагать, что холоп из Заозерья не только прозывался суздальцем, но и именовался по отчеству — Ходутинич. В то же время интерпретация анализируемого

сочетания как ИП ед. ч. [1. С. 299, 303] кажется неприемлемой ни с точки зрения синтаксиса (отсутствует сказуемое в форме ед. ч.), ни с точки зрения морфологии: номинативная форма существительного с суффиксом *-ьц-* в принципе должна была бы оканчиваться на *-е*, ср. Колбинць, Нездильце [1. С. 133], Моисей... поповце (надпись XII в. на лестничной башне Георгиевского собора Юрьева монастыря в Новгороде — любезно сообщена автору Т. В. Рождественской). Наиболее правдоподобно, на наш взгляд, квалифицировать данную конструкцию как родительный принадлежности (РП мн. ч.), обозначающий прежних владельцев холопа — семью суздальцев Ходутиничей (ср.: домъ его всь розграбиша... та(к) же и Водовиковъ дворъ... и бра(т) его Михаля... и *Творимириць* ЛН, 112 — т. е. «двор Творимировичей»⁶). В целом все предложение (несомненно, неопределенно-личное) может быть переведено так: «В прошлом году купили заозерца — холопа суздальцев Ходутиничей».

Признавая ИП на *-е* морфологической чертой западного происхождения [2. С. 169; 5. С. 63], естественно заключить, что и ВП на *-ь* у семантически одушевленных существительных был присущ в первую очередь западным новгородско-псковским говорам. В тех случаях, когда берестяные грамоты, в целом характеризующиеся западными и «центральными» диалектными особенностями [5. С. 65], демонстрируют употребление В=Р вместо ожидаемой *-ь*-формы, следует, по-видимому, говорить о спорадическом проявлении восточноновгородского влияния: как указывал А. А. Зализняк, «...в берестяных грамотах могли отражаться и некоторые частные локальные особенности, несвойственные или малосвойственные основному варианту древне-новгородского диалекта» [5. С. 75]. Весьма вероятно вместе с тем и воздействие стандартного древнерусского, для которого прямообъектный В=Р от личных имен был абсолютно господствующей, а от названий лиц — преобладающей формой.

Распространение ИП на *-ь* в поздних берестяных грамотах (см. [1. С. 131—132]) с очевидностью предполагает рост употреблений В=Р. В грамотах XIII—XV вв. старая форма аккузатива в субстантивном склонении засвидетельствована 22 примерами, в то время как новая — 24. Однако и в этот период немалая часть примеров В=Р приходится на «книжные по морфологии» тексты [1. С. 132] либо на устойчивые книжные формулы. Так, конструкция *на раба твоего* отмечена в переписанном мальчиком Онфимом отрывке из Следованной псалтыри (НГБ № 207, см. [13]); в составе молитвенной формулы использован и В=Р *избави раба (бо)жея Михея трасавиче* 715; словосочетание *(н)а Евана Коуцьника* 514 обозначает день поминания святого; в НГБ № 610 форма В=Р (при наличии *-е* в *дале*) зафиксирована в финальном обороте *гѣ помилуи дьяка Бѣльскаго*; челобитная № 310 завершается ритуальной формулой: *надеемся осподине. на бога. и на тебя*

⁶ Заметим, что объяснение формы *Творимириць* как притяжательного прилагательного от отчества [11. С. 92] представляется неоправданным, поскольку неоднократные новгородско-псковские примеры типа: *оу Прикоуповичь двора* ЛН, 134об., после *Колотиловичь* землю ПГ № 3 — однозначно показывают, что здесь мы имеем дело с РП мн. ч.; аналогично интерпретируются, как и полагал М. Стеванович, сербохорватские формы типа *Добриловића кућа* (см. [11. С. 99]). Совершенно произвольна адъективная трактовка формы: повелѣниемъ Милятиномъ *Лоукиницъмъ* — из записи к Милятину евангелию [11. С. 92]; на самом деле в данном случае отражен анаколупф, как и в конструкциях: повелениемъ *работъ бѣмъ Ананише чернецемъ* (Сийское евангелие 1340 г., 216); замышлениемъ игоумениемъ *Дмитриемъ* (Паренесис Ефрема Сирина 1377 г., 259об.) [12]. Прочие примеры, толкуемые Р. Мароевичем как притяжательные прилагательные от патронимов [11. С. 92—94], являются формами РП ед. ч., кроме формы «сь строю» (НГБ № 487), которая при новом прочтении оказалась твор. падежом *сьстрою* [1. С. 210].

на своего осподна. Три примера В=Р представлены в официальных документах, свободных от диалектных морфологических черт: про Местятку память на Радослава 213 (там же: о(т)казало было, само пощипало); се купило Михало... Одрейна кузнеца 318 (рядная); велѣтъ естѣ его Мѣкъѣфора съгнатѣ 314 (челобитная, ср.: чюль, Мѣкъѣфорко, человѣкъ добръ).

Значительное количество генитивно-аккузативных форм (15) встречается, правда, и в поздних грамотах с не книжной морфологией. Показательно, однако, что до середины XIV в. подобные примеры наблюдаются только у имен собственных (ожь яль будь Матфѣца 411; послѣ сѣмо Ондрищца 645; а ты поши [так!] Григорию Онефимова 177; а Недана пошли во Лугу 134; Зуба позвал- 416)⁷. Лишь со второй половины XIV в. берестяные грамоты отражают использование В=Р, не ограниченное ни семантически, ни синтаксически, ни морфологически: новая форма отмечается при названиях животных (а про к[о]н[ь] поши моего цалца 266 [новое прочтение]; дайте коницка до Видомира 579; у мнь коня познали 305), после предлогов (что еси даль намъ за клуцка [вм. ключника] 370 — ср. ВП на -Ø в псковской грамоте № 6 [XIII в.]: про сеи человека) и у существительного с исконной *и-основой сынъ (оуби-... -вуета сѣа и Кавкагалу 249 [конец XIV в.]; на сна ево на Ива- 496).

Среди примеров со старой формой винительного выделяются прежде всего такие, которые находятся в окружении других новгородских морфологических диалектизмов: я како доспво буду а боръ[ць] оставиво «оставив сборщика» 68 (новое чтение; там же: Местиловъ сыно); и вы имъ кѣне мѣи голубыи дайте 142 (там же: о(т) Маркъ, саме, 3-е л. без -ть, но -лъ в глаголе, обозначающем официальное действие: дѣкънчалъ); се доконьбѣху Мысловѣ дѣтъ Труфане з братьею давати... боранъ 136; пришли конь 272 (там же: полохе, погубиль, пометаль, розроняль); а ннь послѣ свой чоловекъ 167 (там же: попецелиле ся); что еси конь позналъ у нѣмцина 25 (-лъ vs. дал., нѣмцине, сложиле); пришли ми цоловѣкъ на жерепцѣ 43 (там же: приде без -ть, забыле); Онтане... клещь послале. клещь Стопане цетворты «леща послал» 169; о(т)ня(ли) оу мене Селди)ванке да Михеике да Якове Болдыкине кон 521; дале Филипе Стоику... конь 154. В некоторых из приведенных примеров формы на -ъ/-ь могли бы быть интерпретированы как именительный перечисления [9. С. 31] (боранъ, клещь, кон, конь 154), однако наличие именно в этих грамотах номинативов на -е побуждает нас предпочесть сейчас аккузативную трактовку. С другой стороны, ряд форм исконного ВП представлен в грамотах с несомненными восточноновгородскими (resp. общерусскими) особенностями: пришльить лошаць 69, XIII/XIV в. (там же: добръ, здоровъ); моли ся ем(у) чтобы конь купиль... купи и други конь 354 (там же: ихаль, попрошалъ, добудеть, възметъ); велѣли оу Путила конь взяти 697 (РП Путила по *о-основе, в отличие от обычного для НГБ склонения по *а-основе; ср. также: виноватъ, хлѣбъ, сѣсь, поималъ). Знаменательно, что в этих случаях в роли дополнений выступают названия животных. Резонно заключить, что в выражении объекта от данных лексем древненовгородский диалект и стандартный древнерусский язык обнаруживали определенное схождение: для Новгорода -ъ/-ь-форма ВП была здесь так же естественна, как и во всех остальных именах, а в книжном языке наименования животных, как уже говорилось, дольше удерживали В=И. Таким образом, сохранение ВП типа конь в поздних

⁷ Форму цоловѣка в НГБ № 99 (сер. XIV в.), следующую сразу после глагола с отрицанием (а ни посла еси цоловѣка да грамотоу), очевидно, корректнее было бы интерпретировать как РП, варьирующийся с ВП (грамотоу); аналогичное чередование РП и дистантного ВП ср. в НГБ № 354: а михи и серебра не добудеть. Бесспорный РП при отрицании и при глаголе, регулярно управляющем генитивом, представлен в грамоте № 122: не забудь Льва о позвъѣ (ср.: да пришли сороцицю. сороциць забыле 43).

берестяных грамотах, ориентированных на общерусские нормы, поддерживалось не только собственно новгородским узусом, но и традициями древнерусской актовой письменности, широко отражающей подобные формы даже в XVI в. [14] (ср. также, помимо приведенных примеров: *восоли рожи конь продаво 350; поими коне оу Федора 404*). В то же время чрезвычайно многозначителен факт параллельного употребления двух разных форм объекта: *поими моего цаща — поими коне корилескы 266*, — ясно свидетельствующий о том, что во второй половине XIV в. обе формы — утвердившийся во всех восточнославянских говорах В=Р и архаичный новгородский ВП на -Ø — уже сосуществовали в живой речи новгородцев, так же как сосуществовали в ней в этот период и две формы номинатива — с окончанием -Ø и с окончанием -е [1. С. 132]. Использование в грамотах примерно одного синхронного среза таких форм, как *пришли... цоловѣкъ 43 (XIV/XV в.)* и *да... члѣка 370 (2-я пол. XIV в., текст, «замечательный по яркости эмоциональной народной речи» [1. С. 204])*, и, вместе с тем, отсутствие старого ВП у имен собственных (*пришлите ми паробоко — но Борана 124, XIV/XV в.*) подтверждают предположение о том, что ранее всего общерусская (и общеславянская) форма В=Р проникла и закрепилась в кругу антропонимов, между тем как в именах нарицательных, обозначающих не только животных, но и людей, исконный новгородский аккузатив был возможен еще в начале XV столетия (*пришли осподине члѣкъ спроста 17*).

Итак, материал берестяных грамот дает основания утверждать, что распространение РП в функции ВП, начавшееся на большей части славянской языковой территории еще в праславянский период, в северо-западном ареале осуществилось лишь в XIV—XV вв. в процессе сближения древненовгородского диалекта с северо-восточными русскими говорами и при стимулирующем воздействии книжно-письменного языка. Непосредственной структурной причиной, обусловившей вытеснение старых форм аккузатива, явилось отмирание собственно новгородских номинативных форм на -е и замена их общерусскими (и общеславянскими) -ѣ/-ь-формами, омонимичными ВП.

1.2. Спорадическое употребление ИП на -е в пергаменных новгородских текстах XII—XV вв. сопровождается, естественно, и относительно редкими фиксациями коррелирующих с ним аккузативных форм на -ѣ. Однако эти памятники в целом подтверждают, а в ряде случаев и дополняют выводы, сформулированные нами на основе исследования берестяных грамот.

В ЛН, как отметила Е. С. Истрина, «...для собственных имен наблюдается последовательно форма вин.-род.», а при именах нарицательных он «заметно преобладает» [15. С. 147]. Действительно, в Синодальном списке засвидетельствован 191 пример В=Р и лишь 56 — старого ВП от имен нарицательных⁸ (искаженная статистика приведена в [15. С. 149]; об именах собственных см. ниже). Знаменательно, однако, что подавляющее большинство генитивно-аккузативных форм (139) приходится на атрибутивные сочетания с именами собственными, в которых форма апеллятива согласуется с формой антропонима, ср.: *яша кнзя Глѣба 40об*. На вторичность такого согласования указывают сравнительно немногочисленные, но весьма информативные примеры как из ЛН, так и из других летописей, где не только нарицательные, но и собственные имена сохраняют реликтовую форму на -ѣ/-ь, ср.: *И вда имѣ снѣ Стѣславъ ЛН, 61; послаша Новгородци... посадникъ Григореи Кврилловичъ НІVЛ, 435*. Поскольку, в то же время,

⁸ Сокращенные и вследствие этого двусмысленные написания типа: *придоша ис Кыева от Всѣволода по бра(т) Стѣсла(в) вести ЛН, 21* — во внимание не принимаются.

несомненно, что раньше всего формы В=Р закрепились в древненовгородском диалекте все же именно в кругу имен собственных, следует предположить, что среди имен нарицательных распространение -а-форм наиболее активно происходило под влиянием антропонимов, т. е. в аппозитивных сочетаниях; тем самым господство В=Р от апеллятивов в подобных оборотах не вполне показательно для характеристики соотношения старых и новых форм ВП. В конструкциях без антропонимов количество генитивно-аккузативных форм в ЛН (52) сопоставимо с употреблением исконной формы на -ъ/-ь (32), причем необходимо учесть, что немалая часть контекстов с В=Р содержит лексему *князь*, которая, служа для обозначения лиц обычно новгородского происхождения (ср. [16]), весьма редко принимала диалектную форму аккузатива (ср. также спорадическое использование ИП *князе* [1. С. 133]); ряд примеров В=Р отмечен в тех фрагментах летописи, которые отличаются отчетливой книжной ориентацией (ср.: *научень сы сотоною на оубиство... имѣя поспешника Костянтина бра(т) своего. и с нимъ диявола* ЛН, 88об.—89), и, в частности, в «Повести о взятии Царьграда», где, как справедливо указала Е. С. Истрина, «...для имен лиц муж. р. исключительно употребительна форма вин.-род.» [15. С. 148] (13 примеров).

Принимая во внимание общую ориентированность Новгородской первой летописи на стандартный древнерусский язык, нельзя не признать, что частотность аккузативных форм на -ъ/-ь в Синодальном списке явно превышает соответствующие показатели в летописях южно- и восточнорусского происхождения⁹, т. е., по всей видимости, отражает новгородское диалектное влияние. Характерно, что большинство примеров исконного аккузатива наблюдается в ЛН в тот же период, что и формы ИП на -е (последняя фиксация -е-формы — под 1232 г., ВП на -ъ — под 1300 г.). Круг существительных, фигурирующих в форме старого винительного, весьма обширен и включает такие лексемы, как *братъ, вѣнукъ, зять, своякъ, сынъ, шюринъ, биричь, дѣтьскыи, кнѣзь, мастеръ, мужъ, отрокъ, попъ, посадникъ, рабъ, тысячьскыи, щитьникъ, городищанинъ, нѣмьчинъ, суждальць*. С семантической точки зрения наиболее примечательны контексты с существительными, обозначающими социально полноправных лиц: *поусту попъ* без мира 82об.; *поимите оу мене мои шюринъ* 101; Литва *посадиша свои кнѣзь* в Полотьскѣ 140об.; *послаша... во Тфѣрь. снѣ посадникъ* и лоучшии бояры 140 об.; *мастеръ приведоша нарочитъ* 152об. и др. Подобные примеры порождают серьезные сомнения относительно социолингвистической трактовки оппозиции В=И и В=Р как в ее традиционном, так и в модифицированном («категория потенциального агенса», «категория лица» [17. С. 54]) виде. Достаточно проблематичным применительно к древнерусскому языку представляется также соотнесение -ъ-форм с абстрактным, -а-форм — с конкретным значением слова. Очевидно, что два примера устойчивого сочетания *послати (ся) по князь* (ЛН, 38, 45), где существительное *князь* «указывает на титул, должность, а не конкретное лицо» [17. С. 51; 18], теряют свою убедительность при сопоставлении, во-первых, с конструкциями типа: *по Фомоу посла по Доброшница. по новоторожьскыи посадникъ*

⁹ Ср. следующие данные об употреблении В=И и В=Р в беспредложных конструкциях: в ЛН — соответственно 42 и 167 примеров; в ПВЛ по Лаврентьевскому списку — 28 и 163, по Ипатьевскому списку — 27 и 221; в Суздальской летописи по Лаврентьевскому списку — 8 и 279; в начальной части Киевской летописи по Ипатьевскому списку (до 1150 г. включительно) — 11 и 141.

ЛН, 80об. или *пойди за князь нашъ за Малъ* ЛЛ, 5б, — где ВП относится к совершенно конкретным лицам, а во-вторых, с контекстами типа: *послаша еп(с)па по сѣа* его ЛН, 21, — где речь идет о приглашении на новгородское княжение кого-либо из сыновей князя Киевского.

Закономерно, что наибольшее сопротивление новой форме ВП обнаруживается в позиции после предлога, которая и в стандартном древнерусском дольше всего удерживала В=И¹⁰: в ЛН -ъ/-ь-формы с предлогом засвидетельствованы 14 примерами, что составляет 25% от общего числа исконных аккузативных форм, между тем как среди генитивно-аккузативных сочетаний на предложные конструкции приходится лишь 21 пример (11%); в Комиссионном и Академическом списках НЛ все старые аккузативные формы после предлогов неизменно сохраняются (за исключением двух случаев, когда предложный оборот Синодального списка вообще не имеет эквивалента в младшем изводе, см. записи под 1196 и 1222 гг.).

Со времен А. И. Томсона [19] общим местом многих работ, посвященных развитию категории одушевленности, является утверждение о том, что сохранению первоначальной формы аккузатива благоприятствовало также наличие определения *свои*, которое обычно рассматривается как важнейший маркер несубъектного характера формы, не нуждающейся благодаря такому уточнению в дополнительном отграничении от номинатива при помощи генитивной флексии¹¹. Приходится констатировать, однако, что этот постулат принадлежит к числу легенд, коими столь богата лингвистическая история анализируемой категории. Достаточно обратиться хотя бы к словарю И. И. Срезневского, чтобы убедиться в отсутствии строгой соотнесенности между словом *свои* и функцией определяемого им существительного в предложении: источники демонстрируют многочисленные примеры употребления данного местоимения при подлежащем (ср.: *посла къ нему жена своя*; его же *свои ученикъ...* предать; обидеть насъ *стрыи свои* Межька и т. д. [20]); аналогичные примеры неоднократно фиксируются и в Новгородской первой летописи: *явися знаменье... надъ гробьмъ княгыниномъ Ярославлѣ*. Володимирича. *уже оуби свои пасынокъ* ЛН, 130—130об.; *оубиша кѣзя велика Миндовга. свои родици* 140; А Стефана в Киевѣ *свои холопѣ* удавиша... А Феодора *свои песь* уяде НЛ, 473 (ср. также [21]). Амбивалентность местоимения *свои* по отношению к субъектным и несубъектным формам обусловила и отсутствие сколько-нибудь заметного тяготения данного определителя к ВП на -ъ. Вопреки заявлению Е. С. Истриной, будто бы «...при именах нарицательных с определением „свой“ обычно сохраняется старая форма вин.», а «соответствующих примеров с формой вин.-род. немного» [15, с. 149—150], Синодальный список предоставляет 18 примеров ВП на -ъ и 22 — В=Р, сопровождаемых атрибутом *свои* (в том числе в тексте XIII в.— 17 и 15). Сосуществование тех и иных конструкций наблюдается уже с ранних записей, ср.: *убиша моужь свои* ЛН, 14об.— 15 — *бра(т) своего посадити* Соуждали 15; *посла сѣъ свои* Ростисла(в) 22 — *присла...сѣа своего* Ярослава 25об.

Сходная картина отмечается и в текстах новгородского происхождения. Так, в ПВЛ по Лаврентьевскому списку В=И с определением *свои* засвидетельствован в 15 контекстах, тогда как В=Р — в 34, в той же летописи по Ипатьевскому списку — соответственно в 11 и 43. Судя по нередкому использованию сочетаний с атрибутом *свои* при подлежащем в таком относительно позднем памятнике, как ЛИ (ср.: *поноудиша и братья своя*.

¹⁰ В ПВЛ по Лаврентьевскому списку В=И после предлога отмечен в 23 случаях, В=Р — в 30, по Ипатьевскому списку — соответственно в 24 и 31.

¹¹ К сожалению, данная точка зрения некритически повторена и в недавней работе автор^{ов} этих строк [9. С. 32].

и *моужи свои* 607), можно заключить, что установление характерной для современного языка корреляции между определением *свой* и синтаксической ролью существительного относится во всяком случае к последнедревнерусской эпохе. Естественно, что в таких условиях наличие атрибута не играло существенной роли в выборе аккузативной формы.

Особого рассмотрения заслуживает вопрос о морфологически обусловленном употреблении ВП на -ъ от существительного *сынъ*. Прежде всего необходимо заметить, что статистический анализ ЛН не позволяет согласиться с утверждением Е. С. Истриной, согласно которому «...слово „сынъ“ в большинстве случаев сохраняет старую форму вин. пад.» [15. С. 148]. В Синодальном списке исконный аккузатив от этого существительного представлен 25 примерами, тогда как В=Р — 29 (в [15. С. 149] указываются соответственно 24 и 13), причем и та и другая формы встречаются уже в древнейших записях, ср.: *а снъ посади...* Всѣволода на столѣ 9 — *а снѧ* его Мьстислава *посадиша* на столѣ 11. Что касается заключения Е. С. Истриной: «Сочетание „снъ свои“ обычно наблюдается в старой форме вин.» [15. С. 150], — то в действительности в ЛН это словосочетание засвидетельствовано семью примерами в форме исконного винительного и 13 — в форме В=Р (в том числе в тексте XIII в. 7 и 6). Единственным внешним условием, задерживающим сохранение старой формы ВП, следует признать наличие предлога (ср. иначе [15. С. 149]): восемь примеров В=И приходятся на *устойчивое сочетание (послати) по сынъ*, а форма В=Р после предлога представлена только в двух контекстах (*послаша еп(с)па по снѧ* его ЛН, 21 — ср.: *посла(ш)...* къ Гюргеви *по снъ* 28; *людие на снѧ* его *въсташа* ббоб.). И все же, несмотря на примерно одинаковое использование старых и новых форм аккузатива, количество позиционно не обусловленных форм В=И у анализируемого слова (17) значительно превосходит употребительность исконных винительных от других одушевленных имен (так, обороты типа *убиша мужъ* зафиксированы в четырех случаях, а остальные существительные в позиции объекта демонстрируют форму ВП на -ъ/-ь только по одному разу). Нельзя, конечно, не принимать во внимание относительную частотность лексемы *сынъ* в языке летописи: как установил Й. Дитце, она уступает по своей распространенности лишь трем одушевленным именам — *князь*, *богъ* и *мужъ* [22]. Однако, по-видимому, было бы упрощением объяснять количественное преобладание -ъ-форм слова *сынъ* среди других исконных винительных его частотностью; впрочем, еще менее вероятно противоположное мнение о том, что наиболее употребительные имена закрепляли форму В=Р «быстрее», чем малочастотные [23]: нередкие примеры с ВП *сынъ* или *мужъ* в разных древнерусских памятниках показывают, что частотность лексемы не была релевантной для выбора той или иной формы аккузатива. Характерно, вместе с тем, что в ПВЛ по Лаврентьевскому списку беспредложный аккузатив *сынъ* засвидетельствован четырьмя примерами, между тем как *сына* — 23, а в Ипатьевском списке это соотношение составляет 1 : 23; напротив, в той части ЛН, которая была написана в XIII в., соотношение аккузативных форм *сынъ* и *сына* складывается в пользу первой: 23 примера против 18 (в почерке XIV в. соответственно 2 и 11). Предпочтение, оказывавшееся писцами XIII в. -ъ-формам, объясняется, по нашему мнению, тем, что в живой новгородской речи распространение В=Р сдерживалось в данном случае отсутствием -а-формы РП: так, в НГБ генитив *сына* наблюдается со второй половины XIII в. [1. С. 139], а в духовной Климента (ок. 1255—1257 гг. [24]) встречается форма РП на -у (*заньда не было у мене брата, ни сыну* ГВНП № 105). Иначе говоря, «нормальность» [25] ВП *сынъ* в новгородских памятниках может быть истолкована как результат длительного сохранения деклинационной автономности *и-основ в древненовгородском диалекте: в то время как в

*о-склонении усвоение новых общерусских форм В=Р протекало, благодаря существованию исконных собственно генитивных форм на -а, весьма интенсивно, в *и-склонении форма сына была для писцов-новгородцев абсолютно чужеродной, и использование ее в Синодальном списке следует расценивать как одно из проявлений ориентации на стандартный древнерусский язык.

(Продолжение следует)

ИСТОЧНИКИ

- ГБ — Будилович А. XIII слов Григория Богослова в древнеславянском переводе по рукописи Императорской Публичной библиотеки XI века. СПб., 1875.
- ГВНП — Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1949.
- ЛИ — Ипатьевская летопись//Полн. собр. рус. летописей. М., 1962. Т. 2.
- ЛЛ — Лаврентьевская летопись//Полн. собр. рус. летописей. М., 1962. Т. 1.
- ЛН — Новгородская харатейная летопись. М., 1964.
- НГБ — Новгородские грамоты на бересте. М., 1953—1986.
- НЛ — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950.
- НЛВЛ — Новгородская четвертая летопись//Полн. собр. рус. летописей. Пг.; Л., 1915—1929. Т. 4. Ч. 1, вып. 1—3.
- ПВЛ — Повесть временных лет.
- ПГ — Марасинова Л. М. Новые псковские грамоты XIV—XV вв. М., 1966.
- РПр — Карский Е. Ф. Русская правда по древнейшему списку. Л., 1930.
- Свинц. — Свинцовая грамота//НГБ. М., 1963. С. 154—155.
- СП — Синайский патерик. М., 1967.
- УСБ — Успенский сборник XII—XIII вв. М., 1971.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зализняк А. А. Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения; Словоуказатель к берестяным грамотам//Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977—1983 гг.). Комментарии и словоуказатель к берестяным грамотам (из раскопок 1951—1983 гг.). М., 1986.
2. Зализняк А. А. Древненовгородский диалект и проблемы диалектного членения позднего праславянского языка//Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1988. С. 169.
3. Vermeer W. The mysterious North Russian nominative singular ending -e and the problem of the reflex of Proto-Indo-European *-os in Slavic//Die Welt der Slaven. 1991. Jg. XXXVI (N. F. XV), 1 + 2. P. 288.
4. Крысько В. Б. Общеславянские и древненовгородские формы Nom. sg. masc. *о-склонения//Russian Linguistics (в печати).
5. Зализняк А. А. Древненовгородское койне//Балто-славянские исследования, 1986. М., 1988.
6. Зализняк А. А. О языковой ситуации в древнем Новгороде//Russian Linguistics. 1987. V. 11, № 2/3. С. 126—127.
7. Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984—1989 гг.) (в печати).
8. Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 1982. Вып. 9. С. 301.
9. Крысько В. Б. Неличная одушевленность в древнерусском языке//Вопросы языкознания. 1992. № 4.
10. Куза А. В., Мединцева А. А. Заметки о берестяных грамотах//Нумизматика и эпиграфика. XI. М., 1974. С. 217.

11. *Маројевџ П.* Прасловенска adiectiva possessiva типа *Tvorimīćisъ* (од патронима типа *Tvorimīćisъ*), њихова судбина и трагови у словенским језицима//Јужнословенски филолог. 1982. Књ. XXXVIII.
12. Пергаменне рукописи Библиотеки Академије наука СССР. Описане руских и славјанских рукописај XI—XVI векова. Л., 1976. С. 79, 167.
13. *Меуџерскиј Н. А.* К изучењу језика и стила новгородских берестјаных грамот//Уч. зап. Карел. пед. ин-та. 1962. Т.12. С. 108.
14. *Unbegaun В.* La langue russe au XVI^e siècle (1500—1550). La flexion des noms. Paris, 1935. P. 227.
15. *Истрина Е. С.* Синтаксическе јављенија Синодалног списка I Новгородске летописи. Пг., 1923.
16. *Ляпунов Б. М.* Исследоване о језике Синодалног списка I-й Новгородске летописи. СПб., 1900. С. 144.
17. *Мадојан В. В.* Историја категорије одушевљенности у руском језику//Филолошке науке. 1986. № 1.
18. *Жолобов О. Ф.* К историји категорије одређености у древнеруском језику//Историја руског језика. Лексикологија и грамматика. Казань, 1991. С. 46.
19. *Томсон А. И.* Родителјни-винителјни падеж при називањих живих суштеств у славјанским језицима//Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности АН. 1908. Т. XIII, кн. 2. С. 239.
20. *Срезневскиј И. И.* Словарь древнерусского языка. М., 1989. Т. III. Стб. 282.
21. *Шахматов А. А.* Исследоване о двинских грамотах XV в. СПб., 1903. Ч. 1. С. 138.
22. *Dietze J.* Frequenzwörterbuch zur Synodalhandschrift der Ersten Novgoroder Chronik. Halle (Saale), 1977.
23. *Кедайтене Е. И.* Категорија одушевљенности у руском језику (становљеније и развитије). М., 1982. С. 17.
24. *Јанин В. Л.* Новгородске акти XII—XV вв. Хронолошке комментарий. М., 1991. С. 211.
25. *Борковскиј В. И., Кузнецов П. С.* Историческа грамматика руског језика. М., 1963. С. 209.



РУССКИЕ ЯКОБИНЦЫ И М. П. ДРАГОМАНОВ — СПОРЫ О ПУТЯХ РЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОПРОСА¹

В связи с пересмотром ряда важных проблем истории марксизма-ленинизма полезно обратить внимание на спор русских якобинцев с «украинофилами» во главе с М. П. Драгомановым, возникший в 70—80-х годах XIX в. и посвященный проблеме соотношения «социалистического интернационализма» и национализма.

Русское якобинство было представлено в первую очередь таким его идеологом, как П. Н. Ткачев, которого нередко называют предшественником большевизма (ленинизма). Ткачев провозгласил необходимость установления революционной диктатуры, захвата государственной власти и с их помощью переустройства общества. Кроме того, Ткачева также сближают с русским марксизмом в силу его «экономического материализма», согласно которому отсталое русское общество должно было быть модернизировано на путях к капитализму. По крайней мере, подобное представление поддерживалось вплоть до установления сталинского режима (см. [1]). Однако такой важный аспект в социалистическом движении, как интернационализм русского якобинства, пока остается не исследован.

Что касается предыстории русского якобинства, особенно с точки зрения «социалистического интернационализма», мы должны иметь в виду три момента. Во-первых, якобинскую традицию Французской революции, унаследованную французскими бланкистами и перешедшую от них к русским якобинцам. Во-вторых, политические идеи «красных», участвовавших позже в Парижской Коммуне, во время польского восстания 1863—1864 гг. В-третьих, теоретическое наследие и конспиративную деятельность С. Г. Нечаева (подробнее см. [2]).

В программе журнала «Набат» — органа русского якобинства, печатавшегося в Женеве, — подчеркивалась необходимость тесного содружества с польской революционной партией [3]. Подобная политическая ориентация сохранялась до последнего номера «Набата» (1881). Этому содействовал входивший в редакцию видный революционный деятель К. М. Турский — поляк по происхождению (о нем см. [4]). На призыв к сотрудничеству польских и русских революционеров от имени вновь организованного социалистического кружка «Люд Польский» отозвался известный коммунар В. Врублевский. Он выступил за тесную связь русской революционной партии с польской [5. 1876. № 11/12. С. 15].

¹ Хаясака Макото — профессор университета Ибараки (Япония).

² В основу статьи положен доклад, прочитанный в Институте славяноведения и балканистики РАН в декабре 1992 г.

Год 1876, год эмиграции М. П. Драгоманова в Швейцарию, совпал с началом политической деятельности русских якобинцев, связанной с Восточным кризисом на Балканах. Русские якобинцы настаивали на необходимости вывести польский вопрос на арену международной европейской политики. Они также критиковали политику царизма на Балканах, ориентированную якобы на то, чтобы укрепить русскую буржуазию и создать двойную структуру угнетения, которая уже была реализована Николаем I в Королевстве Польском [5. 1876. № 4. С. 12—13; № 5 С. 11—12; № 10. С. 16—17].

В сентябре 1876 г. редакция «Набата» впервые заявила о своих взглядах на позицию «украинофилов». Они были симпатичны ей только тем, что противостояли царскому режиму. Но, по мнению редакции, выражать антицарские настроения недостаточно, необходимо еще и различать принципы социализма и принципы национализма [5. 1876. № 10. С. 16]. В 1876—1877 гг. Драгоманов издал две брошюры, посвященные русско-турецкой войне: «Турки внутренние и внешние» и «Внутреннее рабство и война за освобождение». В первой из них Драгоманов отмечал, что балканская политика царизма очень хитра, потому что, с одной стороны, царизм обещает введение конституции в Сербии, Румынии и Болгарии, а с другой — старается довести народы балканских стран до рабского состояния, подобного существующему в России. По Драгоманову, чистые стремления русских волонтеров на фронте необходимо отличать от политики царизма. Для Драгоманова важнейшими являлись политические свободы: всенародное земское представительство, контролирующее действия исполнительной власти; неприкосновенная свобода слова, сходов, обществ; права человека [6].

Редакция «Набата» в общем приветствовала его позицию. Однако когда Драгоманов во второй брошюре усомнился в том, что разрешение Восточного кризиса ведет к освобождению славянских народов на Балканах (отчасти и к освобождению украинского народа), резко критиковал не только царизм, но и польское господство в Восточной Галиции, начался спор между редакцией и Драгомановым.

Драгоманов писал, что если необходимо преобразовать Российскую империю в новое славянское государство, а именно в свободную федерацию народов, то следует обратить особое внимание на украинский народ, который находится под угрозой насильственной русификации, проводимой царской бюрократией, и эксплуатируется польской шляхтой на Правобережье Украины [7].

Анонимный автор, вероятно, К. М. Турский, возражая Драгоманову, подчеркивал большие заслуги поляков, роль избирательной системы Речи Посполитой, основанной на свободе шляхты, а также значение Конституции 3 мая 1791 г. и участие поляков в русском революционном движении, в Парижской Коммуне, их социалистическую деятельность в Западной Европе после падения Коммуны [5. 1877. № 3—6. С. 30—31].

Тем временем Д. Н. Овсянко-Куликовский в брошюре «Записки южнорусского социалиста» развернул взгляды Драгоманова шире. По его мнению, задача социализма должна быть разрешена прежде всего в аграрной сфере: земля, орудия труда и капитал должны перейти в общинную собственность. При этом «родовая собственность» должна стать главным принципом. В ходе революционного процесса необходимо также принимать во внимание традиции, семейные отношения, обычаи, которые ведут к развитию культурного творчества [8. С. 5—7]. Рассматривая русскую историю, Овсянко-Куликовский пришел к выводу о существовании «общеруссов». По Овсянко-Куликовскому, Российская империя состояла из разнообразных народных элементов, которые были насильственно подавлены централизованным государством и подвергались им русификации. «Общеруссы» — это совокупность государственной общинной жизни [8. С. 15—17]. Русская государственность разделилась в середине XVII в. на два потока. Первый — это

процесс централизации, ярко проявившийся в политике Петра Великого. Второй — это старообрядчество, которое сохранило принцип децентрализации, или федерализма [8. С. 17—18]. Для Овсянико-Куликовского задача социалистов состояла в том, чтобы применить свои принципы к местным условиям жизни народа. Поэтому не надо рассчитывать на космополитичный и шаблонный социализм. Вместо этого необходимо установить социализм отдельный в Великобритании, Малороссии, Белороссии и Польше. Следует реорганизовать социалистическое движение, руководствуясь принципом федерирования всех социалистических партий отдельных наций. Одновременно интеллигенция должна быть национально ориентирована (по Овсянико-Куликовскому — «национализирована»). Поэтому Овсянико-Куликовский провозгласил лозунг «национализирования социализма» [8. С. 29—30].

Против мнения Овсянико-Куликовского выступил Ткачев в статье «Революция и принцип национальности. По поводу „Записок южнорусского социалиста“». Подчеркивая необходимость строить революционное государство и сосредоточить политическую власть у революционного меньшинства, Ткачев заявлял, что утверждения Овсянико-Куликовского по существу анархичны [9. С. 61]. Ткачев возражал против утверждения Овсянико-Куликовского об «общеруссах» как одном из вариантов централизации государства, считая это понятие абстрактным и бессмысленным. По мнению Ткачева, государство появляется на основе разделения общества на классы. В государстве, по его мнению, почти совершенно исчезают этническо-родовые особенности. В связи с этим могут существовать только «общеруссы», «общефранцузы», «общамериканцы», «общенемцы», «общетальянцы» и т. д. [9. С. 75].

Как же выглядят классы, о которых писал Ткачев? Во-первых, это служебное сословие, бюрократия, которая насильственно нивелирует этнические народные особенности. Во-вторых, у интеллигентов разных народов существуют общие сходные черты, общие обычаи. «Наука, образование сглаживают, стирают национальные особенности, уравнивают, подводят под один знаменатель одинаково великороссов, малороссов, белорусов, финнов, латышей, бретонцев, савояров, русинов и т. п.» [9. С. 75]. У образованных и психологически развитых людей существуют только общечеловеческие и общенациональные черты. По мнению Ткачева, «украинофилы» недопонимают того, что национальные особенности есть искусственный продукт. Наряду с умственным развитием он указывал также на сельскохозяйственное и промышленное развитие, развитие торговли, которые приводят рабочие массы всех народов к общей занятости, нивелируют этническую разницу и формируют пролетарский тип, при котором пролетарий и интеллигент имеют универсальный характер [9. С. 76]. Ткачев также утверждал, что торгово-промышленное развитие ослабляет элементы сельской жизни и ускоряет урбанизацию. Именно процесс буржуазного развития, который может уничтожить народные особенности и этнические перегородки между людьми, и ведет к образованию общей нации. Этот процесс воспитывает дух братства и равенства и создает революционную ситуацию [9. С. 77]. По Ткачеву, «принцип национальности несовместим с принципом социальной революции, и он должен быть принесен в жертву последнему» [9. С. 84].

В 1878 г. в «Листке Громади» Драгоманов резко выступил против политического террора [10], непосредственно имея в виду ряд статей Турского «Революционная пропаганда», напечатанных в «Набате». В номере «Набата» за 1879 г. Турский возражал против взглядов Драгоманова и настаивал на правомерности политических действий, которыми руководила конспиративная организация «Общество народного освобождения». Подчеркивая полезность террора и поддерживая критику Ткачевым «украинофилов», Турский назвал Драгоманова буржуазным либералом-конституционалистом, ограничивающим революционное движение легальными действиями и даже препятствующим революционному делу [5. 1879. № 1/2. С. 15—16].

Драгоманов в четвертом томе «Громади» за 1879 г. опубликовал резко критические статьи, направленные не только против редакции «Вперед» во главе с П. Л. Лавровым, но и против редакции «Набата». Драгоманов осудил социалистический универсализм редакции «Вперед», которая была против «национализирования социализма» [11]. Возражая «Набату», Драгоманов раскрыл шпионскую деятельность одного из сотрудников журнала, некоего Молчанова [12], и подверг острой критике политическую позицию набатовцев, выраженную в прокламации «Революционная расправа» (см. [13]). В ходе этих споров Драгоманов постепенно отходил от кругов революционеров в Женеве.

Во время дискуссий между Драгомановым и русскими якобинцами была опубликована брошюра польского социалиста Б. Лимановского «Социализм как необходимый продукт исторического развития». В ней он предлагал начать подготовку к созданию «Люда Польского» и изданию политического органа этой организации «Równość». В четвертой главе брошюры Лимановский заявил о необходимости общенародного патриотизма на основе социализма вместо шляхетского патриотизма. Это представление напоминает, как нам кажется, лозунг «обороны республики» французских бланкистов. В ней он также настаивал на исключительном значении деятельности польских революционеров в славянском мире, считая, что они должны действовать в границах Речи Посполитой 1772 г. [14]. По его мнению, рабочий вопрос должен быть связан с патриотизмом и разрешен в рамках территории прежней Речи Посполитой, а украинские рабочие Восточной Галиции должны сотрудничать с польскими рабочими, основываясь на принципах социалистического равноправия.

В 1879 г. в «Набате» появилась положительная рецензия на брошюру Лимановского. Автором ее был, по-видимому, Турский. В рецензии он изложил свое мнение, согласно которому польский социализм наследовал якобинскую традицию эпохи Французской революции, которая ощутимо отразилась в манифесте Польского демократического общества (1832) и краковском манифесте (1846). По оценке автора, польский социализм достаточно вызрел уже до Парижской Коммуны, когда во главе с Я. Домбровским и В. Врублевским поляки боролись за социализм. После поражения Коммуны они, будучи эмигрантами, продолжали свое революционное дело, сгруппировавшись в Женеве [5. 1879. № 1/2. С. 13—15]. Подобная оценка совпадала с содержанием брошюры Лимановского.

После успешного покушения на Александра II, совершенного 1 марта 1881 г., террор партии «Народная Воля» окончился. Начал издаваться журнал «Вольное слово», поддерживаемый царским правительством. Политические задачи этого журнала состояли в том, чтобы отрицать террор и поощрять земское движение. «Вольное слово» имело целью погасить революционные настроения в обществе. Драгоманов вошел в редакцию журнала и опубликовал в нем серию статей, объединенных позднее в книге «Историческая Польша и великорусская демократия». В ней Драгоманов продолжал резко критиковать позицию «Набата» (используя, в частности, статью Ткачева «Революция и принцип национальности»), а именно то, что «Набат» опирался на принцип государственности, прежде всего военную бюрократию прусского типа, и не заботился о тяжелом состоянии «негосударственных наций», например, украинской [15. С. 274—289]. Имея в виду понятие «общеруссы» Овсянико-Куликовского, Драгоманов указывал на то, что нравственный уровень украинского крестьянина под гнетом царизма понизился до уровня простого солдата. Наряду с этим, учитывая господство польской шляхты в Восточной Галиции, он развернул критику позиции Лимановского, настаивавшего на нивелировании рабочего класса в «общепольском направлении», что совпадало с позицией «Набата» [15. С. 384—401].

Современник Драгоманова, бакунист В. Черкезов, характеризуя его взгляды, писал: «Очутившись за границей, Вы, с одной стороны, продолжаете поклоняться старым богам, продолжаете поддерживать связи с буржуазными конституционалистами и проповедуете буржуазно-национально-конституционные принципы, а с другой — делаете глаза и кокетничаете с нами, социалистами-революционерами. Сперва Вы пробовали сойтись с нашей редакцией и с польской революционной партией, но и мы, и поляки отвернулись от Вас; тогда Вы вздумали провозгласить себя анархистом. Но, увы! и анархисты отвернулись от Вас, печатно заявив, что между их и вашей программой нет ничего общего» [16]. Что касается работы Драгоманова в редакции «Вольного слова», то позднее П. Б. Струве отметил: «Драгоманов первый из русских публицистов дал русской демократии широкую и ясную политическую программу. Он первый резко и отчетливо выяснил русскому обществу смысл и значение конституционного порядка, и в особенности прав личности, начал самоуправления» (цит. по [17]). Именно поэтому Драгоманов не мог стать социалистом-революционером, стоящим на позициях «социалистического интернационализма». По отношению к русскому народническому движению его симпатии склонялись к конституционалистскому направлению А. И. Желябова [18]. Он определенно возражал против якобинской позиции Л. А. Тихомирова.

В ходе установления сталинского режима и особенно после издания «Краткого курса истории ВКП(б)» русское якобинство трактовалось как нечто совершенно чуждое марксизму-ленинизму, как один из вариантов народничества. Однако за последнее время оценка изменилась, и сейчас признано, что оно являлось одним из предшественников большевизма. Идеи Лимановского негативно трактовались в польской послевоенной историографии ввиду того, что он связывал социализм с традициями шляхетской демократии. Эта трактовка также постепенно изменяется в более положительную сторону.

Ныне можно и нужно преодолеть односторонность подхода как к различным формам «социалистического интернационализма», так и к разновидностям узкого, шовинистического национализма (как, например, в [19]). Убежден, что идеи федерализма Драгоманова, которые включали политическую свободу, конституционализм и самоуправление, не потеряли значения и в настоящее время. Уверен также, что спор между русскими якобинцами и Драгомановым дает полезный материал для разностороннего рассмотрения проблем, имеющих ныне не только научное, но и актуальное политическое значение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Козьмин Б. П. П. Н. Ткачев и революционное движение 1860-х годов. М., 1932; *Walicki A. The Controversy over Capitalism.* Oxford, 1969.
2. Хаясака Макото. Зарождение русского якобинства до формирования программы журнала «Набат» // Университетский бюллетень. Ибараки. 1991. № 23 (на яп. яз., резюме на русск. яз.).
3. Программа журнала «Набат» // Набат., 1875. Ноябрь. С. 6.
4. Николаевский Б. Памяти последнего якобинца-семидесятника (Гаспар Михайлович Турский) // Каторга и ссылка. 1926. № 2 (23). С. 211—227.
5. Набат.
6. Драгоманов М. П. Турки внутренние и внешние. Женева, 1876. С. 8—10.
7. Драгоманов М. П. Внутреннее рабство и война за освобождение. Женева, 1877. С. 6—10.
8. Овсянничко-Куликовский Д. Н. Записки южнорусского социалиста. Женева, 1877.
9. Ткачев П. Н. Революция и принцип национальности. По поводу «Записок южнорусского социалиста» // Набат. 1878. № 1—4.
10. Листок Громади. 1878. № 1. С. 12.
11. Драгоманов М. П. Українська «Громада» і націоналізованіє соціалізма по V т. «Вперед» // Громада. Женева, 1879. Т. IV. С. 359—361.

12. Драгоманов М. П. Ми ј «Набат» // Громада. Женева, 1879. Т. IV. С. 374—382.
13. Турский К. М. Революционная расправа. Женева, 1878.
14. Lipanowski V. Socjalizm jako konieczny objaw dziejowego rozwoju. Lwów, 1879. S. 62—66.
15. Драгоманов М. П. Историческая Польша и великорусская демократия. Женева, 1882.
16. Черкезов В. Драгоманов из Гадячи в борьбе с русскими социалистами. Женева, 1881. С. 33.
17. Заславский Д. Михаил Петрович Драгоманов: Критико-биографический очерк. Киев, 1924. С. 135.
18. Драгоманов М. П. К биографии А. И. Желябова. Женева, 1882.
19. Заславский Д. М. П. Драгоманов (К истории украинского национализма). М., 1934.



КИШКИН Л. С.

РУССКИЕ В КАРЛОВЫХ ВАРАХ (КАРЛСБАДЕ)

В прошлом Карлсбад, а ныне Карловы Вары — издавна самый известный в Европе, да и во всем мире чешский курорт, богатый целебными источниками. В одной из дошедших до нас романтических легенд говорится, что чудодейственные воды обнаружил во время охоты чешский король Карл IV (1316—1378), увидевший около двух своих собак, которых забодал олень, бьющий из-под камней горячий источник. По другой легенде Карл IV после битвы у Кресси, в которой погиб его отец король Ян Люксембургский, лечил водой из горячего источника раненую руку. Поскольку заживление раны прошло очень быстро, молодой король приказал заложить возле целебных вод селение, которое потом и стало королевским городом, получило название Карловые Вары (нем. Karlsbad). Постепенно слава этих чудодейственных лечебных источников росла. В конце XV в. их воспел в своем латинском стихотворении чешский гуманист Богуслав Гасиштейнский:

О, ключ, достойный, чтобы музы хором воспевали тебя,
Святой источник, лейся и струись, не иссякай веками!
Дари здоровье людям, чтобы начерпал новой силы старец,
Чтобы на щеки девы бледной вернулся вьовь румянец!

Большую известность приобрели Карловы Вары к началу XVIII в., а особо популярными стали они в XIX в., когда их посещают многие государственные мужи, аристократы и видные деятели культуры (писатели, музыканты, художники, ученые). Немало приезжало и русских лечиться и отдыхать на чешском курорте. Здесь они могли общаться и с чехами, и с представителями других народов, ведь в Карловых Варах в разное время бывали Гердер, Гете, Шиллер, Шеллинг, Мицкевич, Бах, Вебер, Бетховен, Паганини, Вагнер, Шопен и многие другие европейские знаменитости. Если же говорить о выдающихся деятелях чешской культуры, то в Карловы Вары приезжали филологи и поэты Й. Юнгман, П. Й. Шафарик, К. Г. Боровский, Я. Неруда, Я. Врхлицкий, ученый естествоиспытатель Я. Пуркине, ботаник Я. Челаковский, историк Ф. Палацкий, художники И. Кордик и С. Пинкас, композитор А. Дворжак и др. Возможность общения с этими людьми, как и вольная атмосфера, тоже манили русских в Карловы Вары. Кстати, многие из них по пути на курорт или с курорта нередко задер-

Кишкин Лев Сергеевич — д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН.

живались в Праге, знакомясь там с ее достопримечательностями и вступая в личные контакты с чешскими писателями и учеными. Все это и позволяет считать пребывание русских на знаменитом чешском курорте одной из существенных страниц чешско-русских отношений.

Нам уже приходилось писать о пребывании русских писателей в Марианских лазнях (Мариенбаде) [1]. В данном сообщении попытаемся в меру сил коротко рассказать о посещениях русскими Карлсбада от начала XVIII в. и до начала века XX. Их история достойна внимания уже потому, что в какой-то мере позволяет представить себе, как складывались и развивались взаимознание и контакты между двумя родственными славянскими народами.

Одним из первых русских посетителей Карлсбада был князь Б. И. Куракин, сподвижник Петра I и его свояк. О своей поездке он рассказывает в путевых заметках, явно отмеченных желанием познакомить русское общество с жизнью чешского курорта. В 1705 г. князь получил «указ его величества об отъезде... за море для лечения в Карлсбаде» [2. С. 279]. Это первое пребывание в Карлсбаде (позднее Куракин приезжал туда не раз) и получило освещение в его дневниковых и путевых записях, очень живых и непосредственных. Куракин подробно рисует жизнь в Теплице¹, где он останавливался по пути в Карлсбад, свое знакомство с карлсбадскими знаменитостями — братьями Бехерами (аптекарем и врачом), потомком одного из которых в 1807 г. организовал производство широко известного и в наши дни целебного ликера. Особый интерес в заметках Куракина представляют описания лечебных процедур, жизни города и его жителей, характеристики целебных источников Карлсбада и его окрестностей. Вот одна из зарисовок карлсбадской жизни, датированная 16 сентября 1705 г.: «И того ж дни, в воскресенье, все посадские того места пополудни час, собрався к ратуши и с знамени и барабаном пошли через все место, улицами на поле, где уготовлены цели, во что стрелять, и все с порохом своим и своими пищалями, и пришли на то место и стреляли аж три часа, а стреляют о заклад. И при том поле сделан театрум, где играют трантофль и иные игры, и карты так видел много, что столов больше пятидесять, и гораздо богата и хороша лавка при том, где пьют чекулад (шоколад. — Л. К.) и чай и кофе, и лимонаты, и тут бывает великий сход ковалерам» [2. С. 120]. Проезжая 7 февраля 1708 г. Прагу во время повторной поездки на курорт, Куракин подробно описывает ее достопримечательности (град, монастыри, Карлов мост и др.).

После Куракина, может быть и по его совету, вместе с ним на лечение в Карлсбад в 1711 г. отправился Петр I, здоровье которого сильно подорвали тяготы продолжительной Северной войны. Весной 1711 г. у царя обострились боли в области желчного пузыря и усилилась цинга. Он выехал на лечение из Киева 3 сентября и прибыл в Карлсбад 13 сентября вечером, будучи больным и очень утомленным. 15-го начал принимать, как сказано в его дневнике, «теплые воды». Лечение в то время состояло в выпивании 15—18 кружек воды в день, с каждым днем их число увеличивалось, доходя до 30 и даже 40. После 7—10 дней такой процедуры (воду пили в постели при закрытых окнах) лечебный курс завершали горячие ванны на протяжении 2—3 дней. Вскоре царю стало значительно лучше, к нему вернулись силы и бодрость. Он принимает в Карловых Варах посланников Австрии, Польши, Англии, Пруссии и Ганновера, особенно его беспокоил тогда заключенный с турками мирный договор на Пруте. Ввиду натянутости отношений с Австрией из-за Турции Петр I прибыл в Карловы Вары как

¹ Теплице — курортный город неподалеку от Карловых Вар, где, кстати, уже в петровские времена находился замок герцога Кляри, один из потомков которого впоследствии женился на правнучке Кутузова, дочери приятельницы Пушкина Д. Ф. Фикельмон, подолгу жившей у нее в Теплице.



Рис. 1. Дом в Карлсбаде, в котором предположительно останавливался Петр I в 1711 г. (современный вид)

частное лицо, не предупредив Венский двор о своем приезде. Однако, узнав о прибытии русского царя, австрийское правительство послало приветствовать его от своего имени представителя Богемии графа А. Ностица.

Незадолго до отъезда из Карлсбада, вспоминая о предшествовавшем Полтавской битве успешном для русских сражении со шведами в сентябре 1808 г., Петр I писал Меншикову: «Сегодня, в годовщину битвы под Лесной, мы выпили стаканчик за Ваше здоровье» [3. С. 7—8]. А вот каким было его общее впечатление о курортном городе: «...он обладает таким приветливым местоположением, что можно в полном смысле слова говорить о благородной тюрьме, он лежит среди таких высоких гор, что почти солнца не видишь...» [3. С. 3].

Первое пребывание Петра I в Карлсбаде закончилось 3 октября². На обратном пути в Торгау, 14 октября, он присутствовал на обручении своего сына царевича Алексея, кстати, тоже дважды лечившегося в Карловых Варах (1710, 1714), с принцессой Шарлоттой фон Вольфенбюттель-Брауншвейг, сестрой австрийской императрицы. 29 декабря Петр вернулся в Петербург.

Второй раз Петр I лечился в Карлсбаде в 1712 г. с 8 по 31 октября. На сей раз его принимали официально с почетной стражей и барабанным

² Этот приезд Петра I в Чехию не был первым. В 1698 г., возвращаясь из своего путешествия в Европу, он по дороге в Вену целую неделю провел в Праге.

боем. Встречавший его бургграф Вратислав вручил царю подарок от Карла VI — 1000-литровую бочку рейнского вина.

В втором пребывании Петра I в Карлсбаде сохранилось больше сведений, чем о первом. Царь вел себя весьма непринужденно и демократично, что очень нравилось карлсбадцам. Он сблизился с членами Стрелкового общества, участвовал в стрелковом соревновании, главным призом которого была бочка вина³. Русского правителя живо интересовала жизнь города, он участвовал вместе с каменщиками в строительстве дома, работал на токарном станке, трудился в кузнице, встречался с местными мастерами. От той поры уцелела выточенная Петром I из кости табакерка и сделанный им треугольный столик с красивыми точеными ножками.

В Карлсбаде и сейчас много памятных мест, связанных с пребыванием Петра I и отмеченных мемориальными досками. Однажды на спор на неоседланном коне Петр въехал на вершину крутой скалистой горы Олений прыжок. Там впоследствии был воздвигнут ему памятник.

Будучи на чешском курорте, Петр I звал на работу в Петербург мастеров, увез из Карлсбада доктора Шобера, оставшегося в России. В Карлсбаде он встретился с знаменитым ученым Г. В. Лейбницем и вел с ним продолжительные беседы о благоустройстве государства. В ходе бесед Лейбниц советовал царю учредить в России академию, астрономическую обсерваторию и университеты в Петербурге, Москве, Астрахани и Киеве. Как известно, позже по просьбе Петра I Лейбниц составил проекты организации образования и государственного управления в России. Во время пребывания в Карлсбаде по желанию Петра I его портрет написал чешский художник Ян Купецкий, которого царь тоже приглашал приехать в Россию. Таким образом, в Карлсбаде Петр I не только лечился, но и многому учился, пополняя свои знания. Результатом его пребывания в Карлсбаде в последующие годы явилось появление на русской службе ремесленников, разного рода специалистов и офицеров из Чешских земель. По заданию Петра I в Праге при участии русских студентов переводились на русский язык учебные книги, в частности «Видимый свет в картинках» и «Открытая дверь к языкам» Я. А. Коменского. При Петре I в Россию приезжают первые чешские актеры и музыканты.

Посещение Карлсбада Петром I и его успешное лечение открыло туда дорогу целому ряду государственных людей России, представителям ее высших кругов. К их числу принадлежали, например, посол в Вене, граф Бестужев-Рюмин, посланник в Мюнхене князь Воронцов-Дашков, посол в Вене Василий Татищев, граф генерал-адмирал Алексей Орлов-Чесменский. В памяти карлсбадцев XVIII в. эти и другие русские аристократы остались как богатые и щедрые гости курорта, устроители невиданных по роскоши праздников. Одно из таких празднеств устроил в июле 1798 г. по случаю дня тезоименитства Павла I (16 VII) граф А. Орлов-Чесменский. Торжества начались за несколько дней до именной даты состязаниями по стрельбе, после которых был обед для именитых персон и бал. В день тезоименитства граф устроил днем парадный банкет, а вечером был и ужин в Саксонском зале, где присутствовал цвет Карлсбада, несколько сот человек. Вечером в парке горели шесть тысяч разноцветных фонарей и звучала модная тогда турецкая музыка, были выставлены три бочки пива и пять ведер вина. А. Орлов любил Карлсбад, был в нем несколько раз (1768, 1778, 1798). О втором его приезде напоминает подаренная им карлсбадскому Стрелковому

³ Любопытно, что Петр I добился лучшего результата среди участников призовой стрельбы, однако он отказался от причитающегося приза (царю была прописана диета, исключавшая вино), и бочка вина досталась второму по результату победителю — мещанину Ф. Брейтенфельдеру. Тот, в свою очередь, подарил бочку вина Стрелковому обществу, а оно продало ее за 28 гульденов, которые были положены в банк. Около 200 лет они приносили Обществу доход, на который оно смогло купить себе участок земли.

обществу большая серебряная медаль, отлитая по приказу Екатерины II в память о знаменитом Чесменском морском сражении (1770). От того же времени в Музее стрелков осталась скатерть с изображением Чесменской битвы. Эта традиция великолепных русских праздников в Карлсбаде имела продолжение и в XIX в. Большое торжество устроил в 1813 г. генерал М. А. Милорадович по поводу прибытия на курорт дочерей Павла I великой герцогини Саксен-Веймарской Марии Павловны и великой княгини Екатерины Павловны, герцогини Ольденбургской. В 1838 г. в Карлсбаде торжественно отмечался день рождения Николая I, а в 1840 г.— его жены императрицы Александры Федоровны [4]. Такие празднества, сопряженные с большими затратами, существенно укрепляли экономику города, как и нередкие благотворительные финансовые вклады богатых русских гостей на его благоустройство. Такие вклады делали, например, граф П. Бутурлин, сенатор А. Ильинский, генерал-губернатор М. Воронцов, княгиня Борятинская, М. Нарышкина. Их крупные денежные дары шли на постройку госпиталей, лечебниц, дорог, на помощь пострадавшим от наводнений и пожаров.

Еще чаще стали посещать Карлсбад в XIX в. Многочисленные русские посетители чешского курорта в это время открывают будущие знакомые Пушкина — сенатор и тайный советник Ф. П. Лубяновский и А. И. Тургенев. Оба они оставили записки о своих впечатлениях от посещения Чехии и Карлсбада [5; 6]. О близких друг к другу курортах Теплице и Карлсбад особенно много говорится в путевых записках уже не раз посещавшего чешские курорты Лубяновского. «Карлсбад,— писал он,— можно сравнить с таким домом, где несколько месяцев непрерывно множество народу: одни приходят, другие уходят, в одном углу страждут, в другом веселятся». Подробно сообщает Лубяновский о горячих источниках и лечебных процедурах в Карлсбаде и его истории. А вот как описана им природа чешского курорта: «Сия область окружена со всех сторон цепью гор или дремучими лесами. По обширным ее долинам также разнообразны горы, на верху коих по временам видны оставленные и опустошенные замки старинных рыцарей». Касается Лубяновский и вопросов экономики северо-западной части Чехии, сопредельной с Карлсбадом. «Местоположение и умеренный климат сего края,— пишет он,— весьма пригодны для хлебопашества. Богемия и в настоящем ее положении считают запасным магазином Австрии». Примечательно суждение Лубяновского о жителях чешских городов и селений: «Народ сей сложения крепкого, статен, добродушен и гостеприимен» [6, С. 96, 103, 106, 107].

Особый период в истории Карлсбада составляет 1813 г., когда в августе неподалеку произошла знаменитая битва под Кульмом (ныне Хлумец). Жители курорта восторженно приветствовали в том году союзные русские и австрийско-прусские войска. После победы русских гвардейцев в Кульмском сражении над значительно превосходившим их войском французов многие раненные русские лечились в Праге и в Карлсбаде. Память о 1813 г., а также 1814 и 1815 гг., когда русские гусары и гренадеры вновь прошли через город, долго жила в сознании карлсбадцев и жителей многих селений северной Чехии. О том времени уцелела благодарственная надпись атамана Платова, относящаяся к 1815 г.:

Карлсбад — сих надписей причина,
Для всех признательных сердец
Карлсбад — прекрасная картина,
Для живописцев образец.

Карлсбад — есть празднество народно
Для странственных и земляков,

Карлсбад — стечение ежегодно,
Он видел здесь и казаков.

Если брать весь XIX в. в целом, то многочисленные посетители Карлсбада из России могут быть разделены на две группы. К одной относятся русская аристократия, включая и членов царской семьи, высокие чиновники и дворянство, к другой — русская интеллигенция (писатели, музыканты, художники, профессора, врачи и т. д.).

Имея в виду в основном первую группу, С. М. Бодянский в 1838 г. писал М. П. Погодину из Карлсбада: «...русских в Карловарах теперь яко гаду морского. Жители говорят, что они никогда еще не видели подобного нашествия водопийц, особливо баров разного цвета и весу» [7]. При этом он называет десятки известных русских фамилий — министров, дипломатов, разного рода сановников и влиятельных дам, в частности, Волконских, Воронцовых-Дашковых, Нессельроде, Васильчиковых, Толстых, Шуваловых, Паленов, Бенкендорфов, Закревских, Оболенских, Львовых, Горчаковых, Голицыных, Гагаринных, Трубецких, Бибиковых и т. д. Нередко навещали Карлсбад и великие князья. Так, в 1835 г. курортный город посетила великокняжеская чета Михаил Павлович и его жена Елена Павловна. Во время их пребывания на горе Олений прыжок, которую называли также и Петровской, была установлена памятная доска с именем Петра I и всех членов царской семьи, посещавших Карлсбад после него⁴.

Несравненно больший интерес представляет вторая группа лечившихся и отдыхавших в XIX в. в Карлсбаде русских, а именно представителей интеллигенции, деятелей культуры, людей творческих профессий. Вот лишь краткий и далеко не полный их перечень: К. Н. Батюшков, братья А. И., Н. И. и С. И. Тургеневы, А. А. Петровский (Ант. Погорельский), П. Я. Чаадаев, Ф. И. Тютчев, М. А. Стахович, Н. В. Гоголь, И. А. Гончаров, Н. В. Станкевич, П. А. Вяземский, А. А. Фет, А. К. Толстой, И. С. Тургенев, А. Ф. Писемский, художник С. Щедрин, композиторы Ф. И. Глинка, А. Т. Рубинштейн, Э. Ф. Направник, ученые и публицисты П. В. Киреевский, О. М. Бодянский, А. Ф. Гильфердинг, А. Кошелев, Н. А. Ригельман, С. М. Соловьев, М. П. Погодин и многие др. Если же говорить о посетителях Карлсбада и расположенного неподалеку от него курортного города Теплице, где кроме Петра I в разное время бывали Александр I и Николай I, то перечень русских посетителей чешских целебных источников мог бы быть значительно пополнен. Только из круга знакомых Пушкина, помимо уже упомянутых братьев Тургеневых, Чаадаева, Петровского, Тютчева, Гоголя и Вяземского, это — Зинаида Волконская, князь И. Д. Козловский, Л. Я. Лобанов-Ростовский, Н. Д. Киселев, А. С. Норов, Д. Н. Блудов, Д. Ф. Фикельмон. Были на чешских водах и старший сын Пушкина полковник Александр Александрович с первой женой Софьей Александровной (в 1874 г.), а позже и дети Л. Н. Толстого. В связи с именами этих писателей интересно заметить, что Карлсбад так или иначе упоминается в их творчестве. В 1828 г., адресуясь к Н. Д. Киселеву, Пушкин писал:

Ищи в чужом краю здоровья и свободы,
Но север забывать грешно.
Так слушай: поспешай Карлсбадские пить воды,
Чтоб с нами снова пить вино.

Вспомним, что у Толстого в «Анне Карениной» Кити и Левин впервые

⁴ Эта доска с перечнем посетивших Карлсбад представителей русской царской фамилии, установленная на скале, являющейся основанием памятнику Петру I на горе Олений прыжок, сохранилась до наших дней.

встречаются в Карлсбаде. Оба эти примера свидетельствуют о популярности в XIX в. в России чешского курорта.

Мы назвали лишь малую часть русских гостей Карлсбада. Их было в XIX в. несравненно больше. Только за двадцать лет, начиная с 1826 г., в нем побывали 63 дипломата и чиновника из России и 98 офицеров [8], не считая многих других гостей. А в последующие десятилетия приток русских резко возрос. Это учитывал один из знаменитых карлсбадских старожилов, швейцарский врач Жан де Карро (см. о нем [4]), издатель «Карлсбадского альманаха», выходявшего на французском языке с 1831 по 1843 гг. в Праге, а позже — до 1856 г. по преимуществу в Карловых Варах. Принимая во внимание массу русских гостей, со многими из которых де Карро был близко знаком (юрист А. А. Благовещенский, П. А. Вяземский, И. В. Сабуров, Н. В. Гоголь, Ф. Н. Тютчев, А. К. Толстой, петербургский врач О. О. Реман и др.), он нередко помещал в своем альманахе статьи на русские темы. Таковы, в частности, «Письмо о современном состоянии русской литературы» (1831), «Табакерка из слоновой кости...», выточенная Петром Великим», «Общественные бани в Тбилиси» (1832), «Русские целебные источники» (1834), «Подъем на скалу Олений прыжок Петра Великого» (1836), «Музыка на русских рожках» (1837), «Русский роман с трагической развязкой в Карловых Варах» (1840)⁵, «Русские и Карлсбад» (1853), «Пиковая дама» (1853)⁶, «Князь Петр Вяземский» и др. Начиная с 1836 г., в альманахе публиковались имена приезжавших в Карлсбад, среди которых много русских. Так, в 1853 г. их было 536 [15. С. 17].

К сожалению, представляющих историко-культурный интерес сведений о посетителях Карлсбада и их пребывании там до нас дошло сравнительно мало. Поделемся тем немногим, что удалось установить.

Бывший близ Карлсбада, а возможно, и в нем самом, еще в 1813 г. во время сражения под Кульмом, К. Н. Батюшков вернулся в эти края спустя пять лет. Он лечился на чешском курорте в 1818 г. При содействии Жуковского Батюшков был причислен тогда к русской миссии в Неаполе. По дороге туда он и посетил Карловы Вары, где, очевидно, встретился с художником С. Ф. Щедриным, на пути из Дрездена в Карловы Вары осматривавшим место кульмского сражения и Теплице. Впечатления художника от встречи с Чехией нашли отражение в его письме к родителям от 5 сентября 1818 г.: «Отправившись из Дрездена с ланд-кучером, ... мы в один день увидели великолепные горы Богемские, которых описать вам не умею, но и никто не в состоянии, это ни в сказке сказать, ни пером описать нельзя...» [10].

Один из идеологов декабризма Н. И. Тургенев, впоследствии заочно осужденный на смерть, лечился и отдыхал в Карлсбаде дважды — в 1824 и 1825 гг. Первый раз Н. И. Тургенев приехал на курорт вместе с командиром лейб-гвардии финляндского полка полковником М. Ф. Митьковым, которого сам ввел в тайное общество еще в 1821 г. М. Ф. Митьков уже бывал раньше в северо-западной части Чехии как участник битвы под Кульмом. После восстания он был приговорен к 15 годам каторги. Одновременно с Н. И. Тургеневым в 1824 г. в Карлсбаде находился и его товарищ по обществу «Арзамас» Д. Н. Блудов.

В 1825 г. Н. И. Тургенев был на чешском курорте с 31 августа по 20 сентября. На этот раз, кроме уже упомянутых лиц (М. Ф. Митьков и Д. Н. Блудов), снова приехавших на лечение, он общался с П. Я. Чаадаевым, возвращавшимся домой из путешествия по Европе, с еще молодым Ф. И. Тютчевым и со своими братьями Александром и Сергеем. Водные

⁵ Имеется в виду повесть А. Ф. Вельмана «Эротиды».

⁶ Статья посвящена постановке в Карлсбаде оперы «Пиковая дама» французского композитора Ф. Галеви на либретто О. Э. Скриба, по-своему использовавшего пушкинский сюжет, перенеся его действие в Карлсбад.



Рис. 2. Дом, где жил Н. В. Гоголь, будучи на курорте в 1845 г. (современный вид)

процедуры помогли Н. И. Тургеневу, после них он поехал во Францию, а в Россию попал лишь 30 лет спустя. Находясь в эмиграции, Н. И. Тургенев еще не раз приезжал на чешские воды.

По свидетельству М. Жихарева, Чаадаев в Карлсбаде встретился с Шеллингом и «провел с ним несколько дней в близком общении и коротком разговоре». Впоследствии немецкий философ говорил знакомым русским, что «Чаадаев один из замечательных людей нашего времени и, конечно, самый замечательный из всех известных ему, Шеллингу, русских» [11. С. 12—13].

В 1833 г. в городах северо-западной Чехии, в том числе и в Карлсбаде, побывал оппозиционно настроенный по отношению к правительству Николая I В. С. Печерин, поэт сложной и трагической судьбы. Будучи в Чехии, он услышал там романтическую легенду о богемской графине Турн, которая была безнадежно влюблена в егеря своего отца, владетельного графа, которому принадлежал величественный замок Турн. Печерин на пути в Карлсбад видел этот средневековый замок. Услышанная легенда вдохновила его написать о графине Турн стихотворение-песню, которая вошла потом в его поэму «Торжество смерти», осуждающую самодержавие.

По данным курлистов (запись под № 82) Н. В. Гоголь прошел курс лечения в Карлсбаде с 20 июля по 16 августа 1845 г., а до этого он несколько раз приезжал в Мариенбад (Марианские лазни). Известны письма

Гоголя из Карлсбада к Н. М. Языкову, В. А. Жуковскому, А. О. Смирновой, а также к матери, датированные июлем 1845 г. Во время этого приезда в Чехию он встретился в Праге с П. Й. Шафариком, с которым познакомился еще в 1839 г., и Вацлавом Ганкой. Будучи в Национальном музее, Гоголь сделал в альбоме Ганки следующую запись: «Гоголь желает здесь В. Вячеславовичу еще сорок шесть лет ровно, для дополнения 100 лет (Ганке тогда было 54 года.— Л. К.) здравствовать, работать, печатать и издавать во славу славянской земли и с таким же радушием приветствовать всех русских, к нему заезжающих, как ныне» [12. S. 116].

Ф. И. Тютчев приезжал в Чехию много раз (1821, 1841, 1870). Будучи в 1870 г. в Карлсбаде, он узнал о кончине сына. Потрясенный утратой, ослабевший и подавленный, по совету своего врача Боткина, чтобы сменить характер лечения, он переехал в Теплице. И хотя чешские водолечебницы не получили прямого отражения в поэзии Тютчева, однако его поездки в Чехию дали повод для создания целого ряда посвященных ей стихов («Славянин», «Чехам в годовщину Гуса» и др.). Поэт был лично знаком с Ганкой, Эрбеном и другими деятелями чешской культуры.

Особое место занимают Карловы Вары в биографии П. А. Вяземского. Он отдыхал и лечился там пять раз (1852, 1853, 1854, 1858 и 1859). В 1853 г. вместе с Вяземским была на курорте его племянница Е. Н. Карамзина, он встречался там с Н. И. Тургеневым. Находясь на лечении, Вяземский вместе с женой посетил многие близлежащие города и селения (Мариенбад, Франценбад, Хеб, Локет, замок Меттерниха Кёнигсварт и др.). Обо всем этом мы узнаем из его дневников, в которых, кстати, подробно описано празднование 500-летия Карловых Вар. В отличие от других русских гостей Карловых Вар, Вяземский довольно подробно описал свои пребывания там, особенно в 1853 г. В Карлсбаде им был написан целый ряд стихотворений, в том числе и посвященных жизни курорта (подробнее см. [9]). К ним, например, относятся «Карлсбад» и «Карлсбадские очерки». Вот две строфы первого из этих стихотворений:

Я пережил здесь много поколений,
Сочувствий много здесь я издержал,
И много я минутных обручений
Здесь невзначай связал и развязал.

Назвать ли это благом иль несчастьем?
Но на водах такой уже обряд;
Когда ж вопрос рассмотришь с беспристрастьем
И вся-то жизнь — не тот ли же Карлсбад?

Одно из написанных на чешском курорте стихотворений Вяземского было посвящено пребыванию там Петра I. Оно начинается словами:

Великий Петр, твой каждый след
Для сердца русского есть памятник священный,
И здесь среди голых скал твой образ незабвенный
Встает в лучах любви и славы и побед.

Доска с полным текстом этого стихотворения была укреплена на одной из скал горы Олений прыжок рядом с открытым 12 июля 1877 г. памятником Петру I (работы чешского скульптора Т. Сейдана).

Как и многие другие, по дороге в Карлсбад или на обратном пути, Вяземский посещал Прагу, знакомился с ее достопримечательностями, встречался там с Ганкой и Шафариком. Подобно Гоголю, Вяземский сделал 26

июля 1853 г. памятную запись в альбом Ганки: «Слово дано от Бога человеку на благо и с тем, чтоб люди друг друга разумели и вследствие того друг другу сочувствовали и помогали. Слово должно быть орудием мира и братского дружелюбия между народами и правительствами...

Мы, славяне, дети слова, расторгнутые ошибкою,— чтобы не сказать преступлением истории,— все еще родные братья и по крови и по слову» [13].

Под впечатлением от пребывания в чешской столице Вяземским было написано стихотворение «Прага», в котором говорилось:

Поклон любви с желаньем блага,
В знак соучастья и родства
Со мною шлет тебе, о Прага,
Первопрестольная Москва.

Пребывание в Карловых Варах, как показывают дневниковые записи и стихи Вяземского, пробудили у него интерес не только к судьбе чехов, но и к истории всех славян.

Три раза приезжал на лечение в Карлсбад И. С. Тургенев, в 1873, 1874 (№ курортного регистра 6519) и в 1875 гг. Страдая сильными приступами подагры, он передвигался с трудом и очень редко выходил из дома, много писал, читал корректуры (видимо, это были рассказы «Пунин и Бабурин», и «Часы»). В 1874 г. в Карловых Варах Тургенев встречался с редактором журнала «Вестник Европы» М. М. Стасюлевичем. В следующем, 1875 г., Тургенев приехал в Карлсбад вместе с братом Николаем Сергеевичем. Одновременно с ними там лечились тогда М. М. Стасюлевич и А. К. Толстой.

13 июля 1875 г. в отеле «У Пуппа» на благотворительном вечере в пользу жителей выгоревшего дотла г. Моршанска Тургенев читал свои произведения «Льгов» и «Живые мощи», а инициатор вечера А. К. Толстой — свои былины «Алеша Попович», «Змий Тугарин» и стихотворение «Грешница». Концерт прошел с огромным успехом. Не было ни одного свободного места, он привлек к себе посетителей из Мариенбада и Франценбада (Марианских и Франтишковых лазней), из Теплиц и даже Праги. Оба писателя в тот день были увенчаны лаврами.

Во время одной из встреч в 1875 г. Тургенев рассказал А. К. Толстому о сюжете повести «Часы». В том же году Тургенев виделся в Карлсбаде с А. Ф. Писемским, который останавливался там с сыном по дороге в Берлин. Воды помогали Тургеневу избавиться от недомоганий, в одном из писем к брату он называет Карлсбад «чудотворным местечком». Приезды в Чехию на воды обогащали Тургенева новыми впечатлениями, он был знаком с В. Ганкой и Й. Фричем. На доме, где жил писатель, в память о нем была установлена мемориальная доска с надписью «Здесь жил Иван Сергеевич Тургенев в 1874—1875 гг.».

А. К. Толстой особенно часто приезжал в Карлсбад, первый раз — в 1827 г. вместе с дядей, писателем А. А. Петровским, и матерью, а позже лечился и отдыхал там ежегодно: с 1863 по 1868 гг. и в 1870, 1871, 1874, 1875 гг. В 1864 г. Толстой встретил на курорте И. А. Гончарова и читал ему «Смерть Иоанна Грозного». В Карлсбаде он сблизился с редактором журнала «Русская беседа» А. И. Кошелевым. На курорте А. К. Толстой написал ряд произведений.

Как следует из записей курортных гостей (№ регистра 4140), А. А. Фет приезжал в Карлсбад в 1856 г., где встретился с сестрой Н. А. Шеншиной. Его впечатления от пребывания на курорте отражены в книге «Мои воспоминания» и статье «Из-за границы».

Вероятно, никто из русских, за исключением, может быть, Вяземского,

не описал так подробно курортную жизнь и окрестности Карлсбада, как Фет. Он внимательно наблюдал за поведением людей разных национальностей на водах: венки — умеют веселиться, француженки — сдержанны, но довольны, польки — щебечут, наши соотечественницы — «заняты разрешением мировых вопросов», глубокомысленная дума не сходит с их лиц. А вот, что пишет он о поведении одного толстяка-венгра: «Когда по утрам у Шпруделя Лабицкий⁷ заиграл попури из национальных венгерских песен, толстяк не выдержал, стал пошатываться, притоптывать ногами и чуть не махнул венгерку; а ведь старику под 60 лет! Спрашивается, какой музыкой можно заставить хотя бы одиннадцатилетнего англичанина сделать подобные неприличия?» [14].

Привлекли внимание Фета и содержание магистратом общественных зданий, и организация им ежедневных музыкальных концертов, и тщательный уход за прогулочными лесными дорожками протяженностью в 50 верст. А вот как описал поэт прилегающие к Карлсбаду места: «С каждой вершины панорама окрестных гор плавает в голубом тумане; а в ясную погоду можно даже различать хребет, убегающий в Тироль. Растительность чудная, очертания и переливы оттенков зелени нагорных лесов разнообразны, свежи и чрезвычайно мягки. Каждое выдавшееся дерево, каждая отдельная группа ветвей пышна и в то же время просится в общую гармонию» [14. С. 111].

Еще одним писателем, который, по всей видимости, посетил Карловы Вары в 1876 г., был К. М. Станюкович, о чем свидетельствует его очерк о чешском курорте.

В Карловарском музее сохранилась коллекция портретов из альбома знаменитого карлсбадского художника И. Кордика. Судя по датам, эти портреты карлсбадских гостей (Ф. Лист, Ф. Лауб и др.) делались в 1852—1854 гг. На одном из них изображен М. Глинка. Это позволяет думать, что русский композитор во время последней своей поездки в Париж (1852—1854) побывал в Карлсбаде, где Кордик и сделал его портрет (подробнее см. [15]). Кстати, тому же Кордику принадлежит и сделанный им в Карлсбаде портрет П. А. Вяземского.

Еще одним музыкальным гостем Карлсбада был А. Рубинштейн. В 1875 г., вместе с А. К. Толстым и И. С. Тургеневым, он участвовал в проходившем там благотворительном концерте в пользу маршанских погорельцев. Им были исполнены тогда в Карлсбаде собственная увертюра «Дмитрий Донской» и «Камаринская» Глинки. Весь доход от концерта (1600 флоринов) был отправлен в Россию пострадавшим жителям Моршанска. Заметим, что А. Г. Рубинштейн очень часто посещал Чехию (1858, 1875, 1876, 1884, 1892), при этом не раз выступал в благотворительных концертах. Так, 20 июля 1884 г. в Мариенбаде он дал концерт в пользу пострадавших от разлива Вислы, на котором, кроме своих вещей, исполнял произведения Баха, Бетховена, Шопена и Фолькмана.

Приезжал в Карлсбад на отдых и лечение в 1896 г. многолетний (1869—1916) дирижер Мариинского театра, чех по рождению, Э. Направник. По предложению Чешской национальной оперы он познакомил тогда пражскую публику со своей оперой «Дубровский», которая была хорошо принята, и после Праги поставлена в Брно и Пльзене.

Большое значение посещение Карлсбада и других мест Чехии имело для русских литераторов и ученых-гуманитариев, поскольку привлекало их внимание к истории западных славян, позволяло знакомиться с крупнейшими чешскими учеными деятелями культуры. Мы лишены возмож-

⁷ И. Лабицкий — польский композитор, руководитель и дирижер на протяжении многих лет выступавшего в Карлсбаде оркестра, в состав которого входили и русские музыканты. Оркестр Лабицкого в первой половине XIX в. гастролировал в Петербурге.

ности рассказать здесь обо всех приезжавших в Чехию и, в частности, в Карловы Вары, литераторах и ученых из России (это большая тема) и потому сообщим лишь о некоторых из них.

Относительно пребывания в Карлсбаде О. М. Бодянского уже упоминалось. О его связях с чешскими учеными, в частности, с Й. Юнгманом, В. Ганкой, Я. Колларом и особенно П. Й. Шафариком, хорошо известно.

За год до Бодянского лечиться в Карлсбад приезжал больной туберкулезом поэт и философ Н. В. Станкевич. По пути на курорт в сентябре 1837 г. он останавливался в Праге, где посетил Шафарика, познакомился с Челаковским и Палацким, виделся с чешскими литераторами. Во время осмотра достопримечательностей Праги Станкевича поразила связанная со зданием Королевской канцелярии история о том, как в 1618 г. из его окон были выброшены два ненавистных восставшим чешским дворянам королевских наместника — Славата из Хлума и Боржета из Мартиниц. Посещения Чехии (Станкевич там был еще и в 1839 г.) нашли отражение в его переписке.

Русский ученый-славист А. Ф. Гильфердинг, автор многих работ о Чехии, в частности о ее истории, Я. Гусе и гуситском движении, посетил Карлсбад в 1855 г. Будучи на курорте, он учился там по рекомендации Ганки, с которым встречался до этого в Праге, чешскому языку. В результате знакомства с Ганкой Гильфердинг обменивался с ним книгами, посылал ему, в частности, сочинения А. С. Хомякова.

В 1857 г. в Карлсбаде, Праге и Вене полтора месяца провел известный публицист, один из редакторов «Русской беседы» А. И. Кошелев. Сколь большое значение имела для него эта поездка, позволяет судить пространное письмо Кошелева к Хомякову [16]. В нем есть такие строки: «Хотелось бы мне передать тебе живые наши разговоры с гг. Ганкою, Шафариком, Эрбеном, Шумавским, Томичеком, Воцелом... и другими, но, вспоминая слова герцога Ришелье⁸, я предпочитаю обо всем этом умолчать» [16. С. 18]. Кошелев боялся навредить своим чешским собеседникам, национальное свободолобие которых преследовалось австрийскими властями.

Побывавший в Карлсбаде в 1858 г. историк и этнограф Н. А. Ригельман, как и многие приезжавшие на лечение русские, посетил и другие города Чехии. Во время своего путешествия он встретился в Праге с чешскими писателями и учеными, знакомился с чешской историей и культурой. В одном из писем его читаем: «Я осматривал подробно, несмотря на холод, чешский Музей, в котором столько драгоценного по славянской старине. Отдел рукописей был для меня особенно любопытен; он ожидает чешского Востокова... Собрание древностей касательно славянской мифологии кажется самое богатое, какое существует...» [17].

В 1835 г. в Карловых Варах пил целебные воды русский фольклорист, археолог и публицист П. В. Киреевский, которому Языков, не знавший точно планов поездки своего приятеля, писал:

Иль спешишь в Карлсбад здоровье освежить
Бездельем, воздухом, движеньем?

Много раз (1835, 1839, 1846, 1852, 1867, 1869, 1875, 1892, 1896) побывавший в Чехии М. П. Погодин тоже не смог миновать Карлсбад, однако воспоминаний об этом не оставил. Скорее всего он посетил Карловы Вары в 1839 г., когда находился поблизости в Марианских лазнях, но несомненно мог быть там и позже, например, в 1846 г., когда лечился в Теплице опять-таки рядом с Карлсбадом.

⁸ Имеется в виду фраза Ришелье: «Дайте мне две строчки любого человека, и я доведу его до виселицы».

Вместе с семьей графа А. Г. Строганова в 1842 г. в качестве учителя его детей, начиная с 1842 г., несколько раз приезжал в Карлсбад знаменитый в будущем русский историк С. М. Соловьев. В 1843 г. по пути в Карловы Вары С. М. Соловьев виделся в Праге с Ганкой и сделал ему такую запись: „Narody ne hasnou”⁹, когда еще сохранили свой язык и когда особенно имеют таких мужей, которые умеют вдохнуть жизнь и язык в сердце народов». Зная, что после Карлсбада Соловьев поедет в Париж, Ганка послал с ним Мицкевичу книги. Примером того, как обогащали русских ученых поездки в Карлсбад, может быть отрывок из письма Соловьева к Ганке из Парижа от 25 сентября 1843 г.: «На пути из Карловар в Аахен в Вашем Эгере нашел я в соборной церкви большой образ Богоматери, прекрасной Византийской работы, попорченный несколько огнем; проводник мог мне сказать только, что этот образ принесен из Моравии...» [12. S. 938—939].

Русский славист П. П. Дубровский, редактор журнала «Денница» посетил Карлсбад в 1891 г., а по пути туда из Варшавы он встречался с Я. Пуркине, познакомился с чешскими художниками Широм и Махачеком, повидал в Праге Шафарика, Юнгмана, Ганку, Челаковского, Тыла, Пресля, Коубка, Винаржицкого.

Немало и других русских ученых и культурных деятелей побывало в XIX в. в Карлсбаде. Это, например, молодой юрист А. А. Благовещенский, которого М. М. Сперанский послал в 1832 г. для усовершенствования знаний в Берлин. Это — доктор Ф. И. Иноземцев, историк, литературовед и лингвист, проф. Виленского университета И. Н. Лобойко (1852), проф. истории Харьковского университета М. М. Лунин (1894), фольклорист, историк русской литературы О. Ф. Мюллер (1869), юрист и историк М. М. Ковалевский (1875) и т. д. Каждый из них обогатил свои знания о Чехии и ее народе.

Приведенные данные о русских посетителях Карлсбада, разумеется, не являются сколь-нибудь полными и тем более исчерпывающими. Их число было значительно большим. Дальнейшее выявление имен лечившихся и отдохавших в Карлсбаде русских может значительно дополнить эту существенную страницу в истории русско-чешских отношений. Ведь каждый побывавший в Карлсбаде, а значит и Чехии, русский увозил домой не только впечатления о ней, но и новые знания о жизни родственного славянского народа. Очень часто, как уже отмечалось, русские путешественники устанавливали с деятелями чешской культуры личные связи, которые обогащали как тех, так и других. Была и еще одна сторона, сопряженная с пребыванием русских гостей в Карлсбаде, — экономическая. Помимо больших затрат на лечение, нередко они делали крупные благотворительные взносы городу. Крупные суммы дарили Карлсбаду не только богатые русские дворяне-аристократы, но и купцы, в частности, Лепешкин, Прозаров и др. (см. подробнее [3. С. 29, 30; 18; 19]).

И в наши дни еще многое напоминает о давних русских посетителях Карловых Вар. Это и обозначение мест, связанных с пребыванием Петра I. Так, в центре города на одном из зданий установлена доска, говорящая о том, что напротив стоял дом, в строительстве которого царь участвовал. Отмечен мемориальный доской и дом «Орел», в котором жил Петр Великий в 1711—1712 гг. Мемориальными досками обозначены дома, в которых останавливались Гоголь и Тургенев. Благодарственную доску городу-курорту оставил, очевидно, весьма состоятельный петербуржец В. А. Хлапов. Вот ее текст: «Благодарность городу Карлсбаду русского крестьянина Ярославской губ. Пошехонского уезда Василия Аскритовича Хлапова жив. в С.-Петербурге. 1910—1911». Таким образом выражать благодарность у лечившихся

⁹ Народы не угасают.



Рис. 3. Благодарственная доска городу Карлсбаду от Марии Савиной

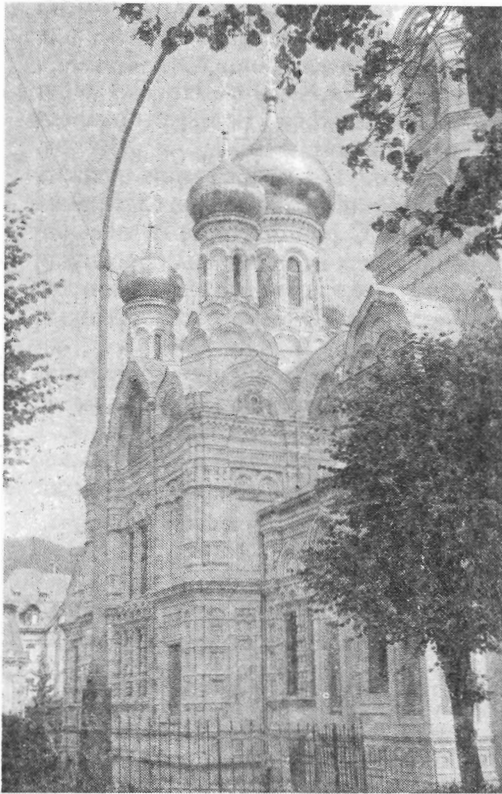


Рис. 4. Церковь Петра и Павла в Карловых Варах

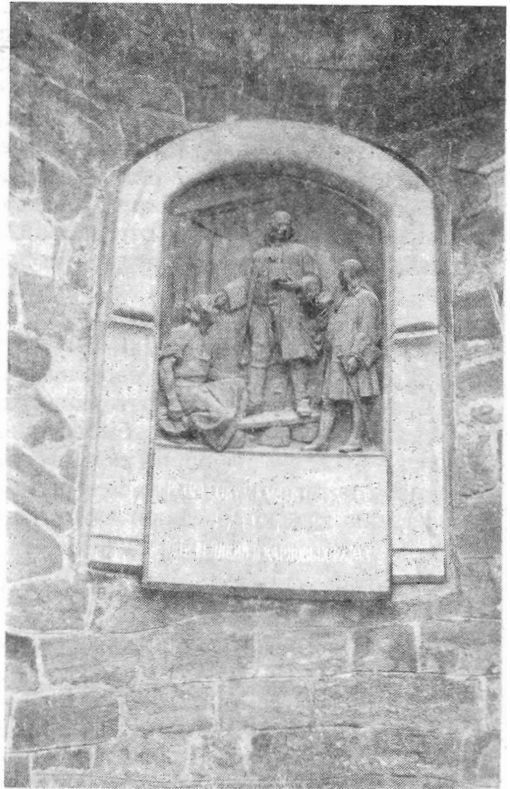


Рис. 5. Рельеф с изображением Петра I в нише церкви Петра и Павла

в Карлсбаде было принято. Если идти по правому берегу пересекающей город реки Тепла против течения, то на его окраине на выступающей у дороги скале внимание идущего обязательно привлечет доска, с такой надписью: «Бесконечная благодарность милому Карлсбаду за излечение мучительного недуга. Артистка Императорских СПб театров Мария Савина. 1884. 1885. 1886».

Напоминает о многочисленных русских гостях Карлсбада и православный храм Петра и Павла на Садовой улице, находящийся там, где когда-то любил совершать конные прогулки Петр I. В одной из ниш этого храма установлен рельеф с изображением русского царя. Церковь Петра и Павла была построена и открыта в 1897 г. на средства русских гостей взамен православной церкви, находившейся с 1867 г. в перестроенном для нее доме «Вашингтон», тоже приобретенном на пожертвования приезжих из России.

О масштабах посещаемости Карлсбадского курорта русскими на рубеже XIX и XX вв. позволяют судить следующие цифры: в 1901 г.— 5743, в 1911—12 034 из общего числа всех приезжавших 70 935, т. е. более $\frac{1}{6}$ [20]. Первая мировая война приостановила поездки больных людей из России на лечение в Чехию. В 20—30-е годы XX в. они появляются в Карловых Варах снова, хотя их число и невелико. Среди приезжавших в это время назовем акад. И. П. Павлова, исследователя Арктики, проф. командира ледокола «Красин» Р. Л. Самойловича, писателя А. Н. Толстого, знаменитого разведчика Р. Зорге. Но это уже другой период истории, так же, как и время после 1945 г., когда приток приезжающих из СССР в Карловы Вары сильно возрос. В числе последних были М. Шагинян, Г. Гулия, С. Михалков, М. Шолохов, Ю. Гагарин, В. Терешкова. Нам же хотелось рассказать о том отдаленном времени, в основном о XVIII и XIX вв. Думается, даже то немногое, что удалось выяснить о пребывании русских в Карлсбаде (Карловых Варах) заслуживает внимания как одно из слагаемых истории чешско-русских отношений в прошлом. С одной стороны, поездки русских на курорт и их встречи с деятелями чешской культуры обогащали друг друга, с другой — в определенной мере русские помогали развитию чешского курорта. Все это вместе взятое в какой-то мере способствовало сближению Чехии и России.

В заключение хочется напомнить, что у истории есть одна существенная особенность: ее можно перетолковывать и искажать в настоящем и будущем, но она, вопреки всему, была такой, какой была. Это относится и к чешско-русским отношениям в минувшие века, содержащим в себе немало ценного и позитивного, о чем думается, не надо забывать, ибо разумное поведение предков — завет потомкам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Кишкин Л. С.* Русские писатели в Марианских лазнях//Советское славяноведение. 1989. № 6.
2. Архив князя Ф. А. Куракина, изданный им под редакцией М. И. Семиевского. СПб., 1890. Кн. I.
3. *Иванова-Быховская Е.* Петр Великий в Карловых Варах. Прага, 1946.
4. *Бем А.* Богемские воды//Центральная Европа. 1934. № 5.
5. Путешествие А. И. Тургенева и А. С. Кайсарова по славянским землям в 1804 г. Пг., 1915. С. 191.
6. *Лубяновский Ф. П.* Путешествия по Саксонии, Австрии и Италии в 1800, 1801 и 1802 гг. СПб., 1805. Ч. I.
7. Письма к М. П. Погодину из славянских земель (1835—1861). М., 1879. Вып. I. С. 66—67.
8. *Les Ruses et Carlsbad-Almanach de Carlsbad.* Praha, 1853. S. 201.
9. *Кишкин Л. С.* П. А. Вяземский и Чехия//Славянские страны и русская литература. Л., 1973.
10. *Щедрин С.* Письма из Италии. М., Л., 1932. С. 61.
11. *Жихарев М.* Петр Яковлевич Чаадаев//Вестник Европы. 1871. Т. V. С. 12—13.

12. *Jirasek J.* Rusko a my. Praha, 1929.
13. *Францев В. А.* Письма к Вячеславу Ганке из славянских земель. Варшава, 1905. С. 182.
14. *Фет А.* Из-за границы. Путевые впечатления//Современник. 1856. № 11.
15. *Prohazka J.* Neznáme styku Michaila Ivanovice Glinky s Cechami//Prispevky k dejinam ceskoskouskyck kulturnich styku. Praha, 1965. Т. I.
16. *Кошелев А. И.* Шесть недель в австрийских славянских землях//Русская беседа. 1957. Кн. IV.
17. *Игельман Н. Р.* Три поездки за границу. М., 1871. С. 277.
18. *Lenhart J. I.* Carlsbads Memorabilien vom Jahre 1325 bis 1839. Prag, 1840. S. 125, 129, 133, 149—150, 421—422.
19. *Lenhart J. I.* Fortsetzung der Memorabilien vom Jahre 1840 bis Ende 1858. Prag, 1860. S. 7, 8, 17, 55, 143.
20. Kur-Frequens des Weltkurorts Karlsbad (1901—1931).



КЛЕПИКОВА Г. П.

К ИЗУЧЕНИЮ ЛЕКСИКИ НОВОБОЛГАРСКИХ ДАМАСКИНОВ

В болгаристике накоплен ценный опыт систематического исследования новоболгарских дамаскинов — памятников письменности на книжном языке на народной основе (КЯНО). В этой связи следует указать прежде всего монографии Е. И. Деминой, посвященные Тихонравовскому дамаскину XVII в. [1; 2; 3]. Работы Е. И. Деминой являются, по существу, программой дальнейших лингвотекстологических исследований всего корпуса дамаскинов. Заметное место в них занимает рассмотрение проблем изучения словарного состава Тихонравовского дамаскина главным образом в аспекте установления места создания самой рукописи [3. С. 75]; см. и раздел, посвященный сличению текстов Тх и иных дамаскинов [1. Гл. III]. Лексическая проблематика в той или иной мере затрагивается в трудах иных исследователей; подробную, критически осмысленную библиографию этих трудов мы находим у Е. И. Деминой.

В настоящей статье остаются за пределами специального рассмотрения такие важные стороны языка дамаскинов I—IV новоболгарского типа (нбт)¹, как особенности грамматики и синтаксиса, хотя, несомненно, данные этих языковых уровней являются существенными и должны всемерно учитываться при изучении собственно лексических единиц. В данном случае мы ограничиваемся констатацией, что в новоболгарских дамаскинах достаточно последовательно отражаются следующие черты: использование аналитических средств для выражения синтаксических отношений имени существительного (сохранение падежных форм отмечается сравнительно редко); в целом строго проведена замена форм инфинитива конструкциями с *да*; отмечается рост частотности членных форм (что хорошо видно, если сравнивать дамаскины I нбт XVII в., например, Тихонравовский (Тх), Троянский (Тр), Копривщенский (К) и Свиштовский дамаскин (Св) XVIII в., репрезентирующий дамаскины IV нбт [4]); использование глагольных конструкций вместо причастных оборотов и др.

Не затрагивается здесь, но признается важным и такой аспект, как связь изучения лексики с проблематикой теории текста, — имеется в виду прежде всего известное исследовательское направление, которое исходит из идеи текста (а) как организованного (структурированного) семантического

Клепикова Галина Петровна — канд. филол. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН.

¹ Подробнее о принципах выделения указанных типов и их характеристику см. [1. С. 53—66].

пространства, (б) слова как значимой единицы текста. Указанное направление видит свою цель в декодировании, в том числе с использованием герменевтических методов, «некоторого общего, но неявно вербально выраженного смысла» данного текста [5. С. 39, 34, 45; 6. С. 227] и — тем самым — уяснении, конкретизации некой общей модели мира [7. С. 5, 9, 49].

Первый этап изучения лексики (как, впрочем, и иных языковых уровней) того или иного дамаскина состоит в каталогизации и классификации, с учетом текстологической структуры, всех зафиксированных в нем соответствующих единиц. Оптимальным решением подобной задачи, применительно к Тх, является создание толкового словаря к данному дамаскину (коллектив, работающий над словарем в Институте болгарского языка БАН возглавляет Е. И. Демина). Важная работа проделана и по Троянскому дамаскину, для которого составлен Словарь с указанием словоупотреблений [18]; некоторые дополнения см. [9. С. 211—256].

Следующий, принципиально новый этап связан, по-видимому, с обращением к сравнительно-сопоставительным студиям, — путем вовлечения в круг исследований возможно большего числа болгарских версий «Сокровища» Дамаскина Студита, написанных не только на новоболгарском книжном языке, но и на церковнославянском (македонский, среднегорский и другие архаические типы этого памятника — подробнее см. [1. С. 37—52]), и параллельного их изучения. Здесь возможны различные подходы; перспективным, в частности, является, на наш взгляд, сплошное изучение содержательно тождественных текстов в ряде дамаскинов — в полном объеме или фрагментарно. Это чрезвычайно трудоемкая работа, требующая компьютерной обработки корпуса фактов, однако в дальнейшем, когда будет создана репрезентативная база данных, станет реальным решение кардинальных вопросов становления и развития КЯНО, — таких, как соотношение языка дамаскинов нбт, с одной стороны, и дамаскинов архаического типа — с другой, выявление динамики связи между традиционными и инновационными элементами в деятельности болгарских книжников и т. п. Будут созданы условия для изучения конкретных изменений в письменном языке, прежде всего за счет «демократизации» в результате радикальной смены самого типа книжного языка и перехода на язык с принципиально иными структурными параметрами, и в ходе активного проникновения живых, «народных» (в конечном счете диалектных) элементов словаря и др. Сравнение большого количества новоболгарских дамаскинов XVII—XVIII вв. позволит приступить и к углубленному изучению направления стилистических (и тем самым «литературно-художественных») поисков создателей дамаскинов.

Ниже демонстрируются особенности «вариантологического» подхода к изучению языка дамаскинов нбт, который базируется на выявлении и интерпретации общих и варьирующихся в нескольких дамаскинах черт (признаков). Объект изучения — фрагмент «текста», представленный в трех дамаскинах I нбт, одном IV нбт, из «Слова об архангелах Михаиле и Гаврииле», повествующий о чудесном спасении пророка Даниила, посаженного в яму со львами по повелению царя Дария. Рассматривались тексты Тх, Тр, К [10] и Св; кроме того, учитывались параллели из Еленского дамаскина XVI в. среднегорского типа (Ел) [1. С. 44]². Анализируемый фрагмент из Тх, Св и Ел воспроизведен в Приложении; в целях экономии места не даны фрагменты из Тр и К, поскольку различия их с Тх невелики и относятся в основном к графике. Таким образом,

² Искренне благодарю Е. И. Демину за возможность ознакомиться с ксерокопией рукописи Ел.

I нбт представлен ниже Тх (необходимые для анализа замечания к Тр, К приводятся в скобках).

Параллельное чтение данного фрагмента в указанных дамаскинах позволяет установить несколько видов расхождений (вариантов). С одной стороны, это расхождения между дамаскинами нбт в целом и дамаскинами архаического типа, что естественно; с другой — это расхождения между отдельными дамаскинами нбт, прежде всего между Тх, Тр, К и Св.

Iа. «Демократизация» — как процесс (и результаты) перехода от церковнославянского языка, на котором были написаны дамаскины ранних редакций, к вариантам КЯНО. Например:

<p>I, IV нбт: да си развалиши повелѣнїето камікъ [З. С. 197] голѣмь непочекнѣть повика при лѣвовете [З. С. 232] днѣска досега (Тх, Тр, Св), до сага (К) не щѣше [З. С. 22С] рѣкоха/рѣкоше (I нбт), рѣкоха (Св) прїведоха (Тх, К); доведоха (Тр) завѣдоха (Св) ...и тѣриха (I, IV нбт)</p> <p>также: отдалече; и: отдалечь (Св) извѣтре; но: от трапоть (Св) пригледаха го и видѣха; лишь: видѣха (Св) нї заспа; но: ниты заспа (Св) ѡти защо го мно̀го любѣше (Тх, Тр, Св); но: защо го мно̀го любѣше (Тр)</p>	<p>Ел: разорити повелѣнїе камень великъ не врѣжденъ възва къ лѣвом въ днѣ доселе не хотѣше рѣше привѣдѣше...и въврѣгоше</p> <p>издалече и^ввноуѣрь назираахѹ (и видѣвѣше) оуснѣвъ ако мно̀го любѣше</p>
--	---

Iб. «Демократизация» в процессе существования и развития КЯНО:

<p>I нбт: скръбь м ѹстїето (на трапь)</p>	<p>IV нбт: грижа четиридесеть уста̀та</p>	<p>Ел: скръби м ѡустїе</p>
---	---	------------------------------------

При общем для всех указанных здесь дамаскинов нбт:
ѹ стата 'пасть (льва)', также: оуста̀ (Ел)

<p>ѹста лѣвом кнѣзове</p> <p>оста̀виха по сичко твоѣ царѣство</p> <p>ровь/трапь загради/затвори (ѹстата)</p>	<p>уста̀та лѣвовы господарїе</p> <p>тѣриха на царството си</p> <p>трапь затвори</p>	<p>ѡуста свѣре^м кнѣзы, кнѣсе, вла̀стеле поставише въ вѣсѣ^м царѣствїи твоѣ^м</p> <p>ровь загради</p>
--	---	---

II. Отражение диалектных различий (диалектной дифференциации) в языке отдельных типов новоболгарских дамаскинов:

Тх, К: прїидѣ; Тр, Св: ела̀(ила̀) [З. С. 113]; Ел: прїиди;

I нбт: мно̀го любѣше; Св: тврѣдѣ лю̀бѣше; Ел: мно̀го любѣше.

При общем для дамаскинов нбт: [много скръбь (I нбт) ~ много грижа (Св), ср.: много скръбы (Ел); зарадѹва се тврѣдѣ (I нбт) ~ зарадѹва се тврѣдѣ (Св), ср.: възрадова се сѣлѣ (Ел); ѡскръби се тврѣдѣ (I нбт, IV нбт), ср.: оскръби се сѣлѣ (Ел).

Тх, К: три пѣти (см. [3. С. 247]

Св: три пѣте

Ел: трикраты

Тх: прѣзѹ ѿ нѣзи нощѣ

въ ноцѣ онѹ

К: прѣзѹ онѣ зы нощѣ

Тр: прѣзѹ тѣа нощѣ

у тѣзы нощѣ

не хотѣше въложити

I нбт: не щѣше да го тѹри

не щещи негу да

ѣго

го фрѣли

ѣниѹ

I нбт: сегѹ

сегѹ

Анализируемый фрагмент содержит еще один яркий пример диалектной дифференциации болгарской языковой территории: отражение в дамаскинах I и IV нбт наречий со значением 'тогда'. Так, в Тх, К — *тогѹзи*, в Тр — *тогиѹва*, в Св. — *тогѹзи*, при *тогда* в Ел. Данная диалектная черта специально исследовалась Е. И. Деминой в связи с установлением критериев классификации новоболгарских дамаскинов [I. С. 76; 3. С. 10].

III. Вариативность в КЯНО может быть обусловлена семантическими причинами, в том числе — развитием новых значений (или нюансов). Примером этого в предлагаемом отрывке является замена в Св обычного в данном контексте слова повелѣнїе на законъ, ср.: не ли си стѡриль законъ тѣ; ср.: нѣли сѣ сѣ постѹвилъ тѣ царѹ повелѣнїе (Тх), нѣ ли сѣ постѹвилъ тѣ царѹ повелѣнїе (Тр), нѣли сѣ сѣ постѹвилъ тѣ црѹ повелѣнїе (К) — при: и глѹють ѣмѹ .непостѹвили повелѣнїе царѹ (Ел).

Заключение о семантическом сдвиге в слове законъ возникает в результате специального изучения объема значений данной лексемы в Тх, для которого, в связи с созданием Словаря, произведена полная эксцерпция. Абсолютное большинство фиксаций слова отражает значение (основные положения веры, заповеди, данные Богом Моисею на горе Синай): и написа гѣ законъ и даде моѣсѣу да разумѣсѣмъ и нѣе ба истѣнѣсѣго (3. 166); как развитие данного значения — 'христианское вероучение, которое проповедовал Христос и его ученики': и ходѣхѹ по законъ хѣв и ѣмахѹ дѹ себѣ сѣчѣка добрына, чѣо е заповѣдь хѣа (15. 1326), да ходи по хрѣтѣански законъ (9.756), см. также единичное 'божественные запреты, данные Адаму': ами чѣо законъ остаѣви бѣ аѣдамѹ да знае какѣ ѣма на нѣго бѣ да се бои бѣ (33.2346). Здесь же упомянем значение 'языческая вера, религия': нѣе сме сегѹ хрѣтѣане и ѣллинскы законъ ѡставихѣме и не може бы по това мѣсто (5.32).

Круг значений, которые могут рассматриваться как вторичные по отношению к указанным выше, образуется следующими: 'правила, порядок, установленные в том или ином монастыре' — шо сѣ ѡстаѣвилъ законъ монастирскыи, да се пѡсти (2.106), дадоха го да се ѹчи кнѣга и на писмо и на црѣковныи законъ и наѹчи добрѣ (40.3206). Далее — 'церковные правила, ритуальные действия': и повѣ ѣпѣкпѣ да го облѣкѹт въ ризи свѣтлы и блѣсѣвѣ хлѣбъ и раствѡри го по законъ ѹ стѣй чаши (37.2806). Вероятно, здесь же могут рассматриваться и близкие значения — (р а с п о р я ж е н и я, указы, издаѣасѣмъ верховной властью в теократическом государстве), ср., например: ѡ сѣѡна щѣ да ѣзыде законъ и дѹма бѣѣа ѡ ѣерслима (38.2916).

С другой стороны, постепенно формировалось значение слова законъ как элемент п р а в а, сначала обычного, а затем и государственного. См.

первое: зашѡ ѡпрѣвъ нъ ѡмаше ѣдинъ законъ .кога щѣше нѣкои члкъ да сѣ прости рѡба прѣвънъ го плѣснѣше .и тогази го простѣше (35.2586) и второе: повелѣвае законъ, ѡ каже .ако нѣкои вдигне рѣка прѣа цѣра да мѣ се ѡстѣче (15.1416), сюда же примыкает и значение 'правила, обыкновение, существующие в государстве и определяющие деятельность или права верховных правителей': законъ ѡмать царѣе... Кога щѣтъ да ѡдаты на войску ѡ тѣ прѣвънъ поуснать свой люде, та ѡдаты въ ѡ'нѣа градове (18.177).

Таким образом, отмеченное в Св значение у слова закон 'повеление, указ царя, касающиеся веры и религиозных действий' может рассматриваться как своего рода новация, возникшая в результате эволюции семантики от круга значений 'основы вероучения' и подобных к 'закон в ю р и д и ч е с к о м смысле слова'.

IV. Отмечаются и варианты стилистического характера. Некоторые варианты этого типа способствуют повышению экспрессивности текста, чем достигается дополнительный «художественный» эффект. Ср: I нбт — да сѣ турѣ (оу трапъ) ~ Св: да са турѣ у трапотъ: да го фрыли у ѡнѣзи трапъ (при: да ввѣржѣтъ се въ ровъ: не хоѣше вѣложити ѣго въ ровъ — Ел); в Тх, К: ѡ ѡнѣа свѣрѡве ~ Тр: ѡт лѣвовете ~ Св: от онезы лѣвовы и свѣрѡвы дѣвы (при: ѡ свѣрѣи — Ел). Большая выразительность текста Св явствует и из следующего примера: и запечатѣиха тврдѣ, да ни бѣ нѣщо стѣнало, тогда как в I нбт: и запечатѣиха да не бѣ нѣчто бѣло да бѣ извѣдѣнъ бѣлъ. Ср. и сходный пример конкретизации изложения: Св — и господъ провѡди архангѣла Михайла у тозы часъ (при: и гѣ пѣсти архгѣла Михайла (I нбт) ~ гѣ же послѣ архгѣла Михайла (Ел)). Элемент повышенной эмоциональности рассказа можно видеть и в следующем примере из Св: господъ мѡй и богъ мѡй провѡди ангѣла своѣго — при выраженной нейтральности текста в дамаскинах I нбт: гѣ бѣ пѣсти агѣла своѣго (при: гѣ бѣ послѣ агѣла своѣго — Ел).

Свобода, непринужденность повествования, близость к разговорной речи демонстрируют все дамаскины нбт — благодаря введению большого числа специальных частиц, оформляющих диалогическую речь и повышающих коммуникативный уровень текста (об особой роли подобных частиц в «коммуникативной модели» языков балканского языкового союза см. ·11. С. 285). Ср.: нѣли сѣ сѣ поставѣли повелѣнѣ (I нбт) ~ не ли сѣ сторѣли законъ (Св) (при: непоставѣли повелѣнѣ — Ел); ѡми повелѣ (I, IV нбт) (при: повелѣ — Ел); ѡко ли се нѣкои найде (I нбт) ~ ако ли се нѣкои намѣри (Св) (при: да ѡце кто прѣѡбѣдѣтъ — Ел).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Тх:...Да сторѣши повелѣнѣ по сѣчъко твоѣ царъство. Да не поѣше никои нѣчто никому, за мѣ дни. ни ѡ бѣ нѣчто да ѡше. ни ѡ члка. ако ли се нѣкои найде да не послѣша твоѣ повелѣнѣ. да сѣ турѣ оу трапъ при лѣвовете да го издѣтъ. И послѣша гы дарѣ царъ ѡ написа такѡзи повелѣнѣ. А прѣкъ данѣиль ѡмаше ѡбычаи. три пѣты днѣска да сѣ, поклѣна бѣ, ѡ като сѣ ѡмаше ѡбычаи паде на колѣно оу ѡ'нѣзи днѣ ѡ поклѣни се бѣ своѣмѣ . ѡ ѡнѣа завѣднѣците, приглѣдаха го, ѡ видѣха данѣила че сѣ мѣли бѣ . ѡ ѡѣдоше и рекоше царѣ . нѣли сѣ сѣ поставѣли тѣ царѣ повелѣнѣ. никои за мѣ дни. да не поѣше нѣчто ни ѡ бѣ. ни ѡ члка. прѣидѣ сегѣ самъ сѣи ѡ вѣждѣ данѣила какъ сѣ поклѣнѡва бѣ . ѡ ѡше нѣчто ѡ него. Тогази царъ като чѡ за данѣила ѡскрѣби се тврдѣ . ѡти зашѡ го мнѡго любѣше. ѡ не щѣше да го турѣ оу ѡ'нѣзи трапъ при лѣвовете ѡ ѡнѣа кнѣсове поѣдоха ѡ рекоха царѣ . нѣ поѣбно тебе царѣ да сѣ развалише повелѣнѣто что сѣ повѣлѣлъ. И царъ вѣке не ѡмѣ чѡ да стѡри, ѡми, повелѣ ѡ привѣдоха данѣила, ѡ турѣха го ѡ ѡ'нѣзи трапъ при лѣвовете. ѡ донѣсоха камѣкъ голѣмѣ, ѡ ѡставѣха го на ѣ стѣто на ѡ'нѣзи трапъ. ѡ запечатѣиха сѣсъ печать царъскии ѡ'нѣзи

трапъ. и сѣкы остави свой прѣстень и запечатиха, да не бы нѣчто было да бы извѣдены были. И царь ѿ много скръбѣ не вѣрѣ. ни заспа прѣз ѿ нѣзи ношь. И гѣ прѣсти архѣгла михаила и затвори уста на лъвовете. и прѣбы данииль х ѿ нѣзи трапъ непочѣкнѣтъ ѿ ѿна свѣрѣве. И наутре станѣ царь наедно със ѿна кнѣсове. и ѿидоха на ѿ нѣзи трапъ дѣто бѣхх лъвовете. и повика царь ѿдалече. живѣ ли си данииле дружѣ мой. и данииль чю изъ вѣтрѣ и рѣ. да си живѣ царю до вѣка. гѣ бѣ прѣсти аѣгла своѣго и загради хста лъвом и живѣ съмь досѣга. И зарадѣва се царь тогѣзи твѣрдѣ. и повелѣ и извѣдиха даила ѿ ровѣтъ...

Слово № 11

Св:...Да сторишь повелѣнїе на царството си. да ни поїше нїкой нїкому нїщо за четирїдесет динѣ, нити от бога нѣщо да ише нити от чловѣка. Ако ли са гѣкой намѣри да ни послуша твоѣто повелѣнїе, да са тури у трапѣть при лъвовете да го изядѣтъ. И послуша гы царь и написа таквозы повелѣнїе. А пророк Данииль имаше обичай три пѣте днѣска да се покланѣ богу. И катѣ имаше, падна на колѣнѣе сы на тозы день и помоли са богу своѣму. И онѣзы завїдницы видѣха го. катѣ са моли богу, отидоха и рекоха царю: не ли си сторишь законъ ты, нїкой да не поїше нїщо нити от царѣ нити от чловѣка за четирїдесет динѣ ила сѣтъ да видишь Даниила, какъ са покланя богу и ише нѣщо от него. Тогѣзи царь, катѣ чю заради Даниила оскръбї са твѣрдѣ, ѿти зашѣ го твѣрдѣ любѣши и не щѣши негу да го фрыли у онѣзи трапѣ при лъвовете. И онѣзы господарїе утидоха (с)и рекоха царю: нѣ е подобно тебѣ да си развалишь повелѣнїето, шото сы сторишь. И царь векы нема що да стори, амї повелѣ и завѣдоха даниила и фѣрлиха го у онѣзы трапѣ при лъвовете. И донесоха камикъ голѣмъ и туриха го на уста на онѣзы трапѣ и запечѣтиха го със царскы печатъ, и сичкы господарїе удариха тѣхни прѣстини и запечѣтиха твѣрдѣ, да ни бы нѣщо станало, да дойде нѣкой да извѣди Даниила от трапѣть. И царь от много грижа ни вечерѣ нити заспа у тѣзы ношь. И господь проводи архангела Михаила у тозы час и затвори уста лъвовы. И бы Данииль непочѣкнѣтъ от онѣзы лъвовы и свѣрѣвы дивы. И на утрѣ станѣ царь и повика онѣзы завистницы господарїе та утиди на едно със гѣхъ на онѣзы трапѣ, дѣто бѣха лъвовете. И повика царь от далеч Даниила: Данииле, дружѣ мой, живѣ ли сы? И Даниила чю от трапѣть, и рѣчи царютому, да си живѣ царю до вѣка. Господь мой и богъ мой проводи ангела своѣго и затвори уста лъвовы, и живѣ самъ до сѣга, царю. И катѣ чю царь, зарадѣва се твѣрдѣ и повелѣ извѣдиха Даниила от трапѣть...

Слово № 10

Ел:...да поставиши повелѣнїе въ всѣх царствїи твоѣх. не поїскаѣи кому волю или хотѣнїе коѣ. ни ѿ ба ни ѿ члкъ даже до м днїи. да аще ктѣ прѣобѣдїтъ повелѣнїе твоѣ. да ввѣржѣтъ се въ ровѣ лъвом на снѣдѣ. тогда царь дарїе повелѣ написати се таквому повелѣнїю. прркъ же данииль имаше обичай. трикраты въ днѣ покланѣтисе боу. по ѿбычаю же ѿному. падъ на колѣну въ днѣ онъ поклонїтисе боу своѣму. завистливы же ѿны властеле, застѣдѣше назїраахх и видѣвѣше даниила молеца се бѣ и ѿшѣше къ дарїю црѣ и глѣтъ емѣ. непоставили повелѣнїе царю. како до м днїи не искаѣи нїкому прошенїе коѣ ни ѿ ба ни ѿ члкъ. прїиди нѣна и самъ и ѿзриши даниила покланѣающасе бѣ и ищѣте нѣго прошенїе. Тогда ѿко оуслыша црѣ ѿ данииль оскръбисе съло. како много любѣшасе казанїе стѣмъ архангломъ его. и не хотѣше вѣложити ѣго въ ровѣ къ лъвом. и кнѣзы ѿны рѣше нѣсть подобно царю разорити повелѣнїе ѣже поставилѣ еси. царю же не ймоущу чѣто створити. повелѣ привѣдѣше даниила. и ввѣргоше ѣго въ ровѣ къ лъвом. и принѣсѣше камень великѣ и поставише ѣго на бустїе рову. и царскы печатем запечатлѣвѣше рова. и съ прѣстенѣм своимъ кѣждѣ кнѣзь въ всѣсакъ запечатлѣвѣше. како не быти вѣщи и како. Царь же ѿ много скръбѣ въ ноць ону не оуспѣвъ ни вѣкоусївъ снѣдѣ на вечерї гѣ же послѣ архѣгла михаила. и загради оуста лъвом и не вѣрѣдѣнъ прѣбысть прркъ данииль ѿ свѣрси. заутра же вѣставѣ царь. коупно съ кнѣсе ѿнѣх. и шѣдѣше къ рову иде же бѣхх свѣрси. и вѣзва царь идалече живѣ ли еси данииле дружѣ мой. извѣноутрѣ ѿвѣща данииль. да живѣши царю вѣвѣкы. гѣ бѣ послѣ аѣгла своѣ и загради оуста свѣрѣ и сѣ живѣ есѣмь досѣле. Тогда царь вѣрадовасе съло. и повелѣ и изѣтъ бысть данииль ѿ рова...

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Демина Е. И.* Тихонравовский дамаскин. Болгарский памятник XVII в. I. Исследование и текст. София, 1968.
2. *Демина Е. И.* Тихонравовский дамаскин. Болгарский памятник XVII в. 2. Исследование и текст. София, 1971.
3. *Демина Е. И.* Тихонравовский дамаскин. Болгарский памятник XVII в. 3. Исследование и текст. София, 1985.
4. *Милетич С.* Свищовски дамаскин. Новобългарски паметник от XVIII век // Български старини. VII. София, 1923.
5. *Николаева Т. М.* Единицы языка и теория текста // Исследования по структуре текста. М., 1987.
6. *Топоров В. Н.* Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М., 1983.
7. *Цивьян Т. В.* Лингвистические основы балканской модели мира. М., 1990.
8. *Иванова А.* Троянски дамаскин. Български паметник от XVII век. София, 1967.
9. *Демина Е. И.* Ценный памятник письменности (Заметки о Троянском дамаскине XVII в. и его издании) // Балканское языкознание. М., 1973.
10. *Милетич С.* Коприщенски дамаскин. Новобългарски паметник от XVII век // Български старини. II. София, 1905.
11. *Цивьян Т. В.* Синтаксическая структура балканского языкового союза. М., 1979.



Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Т. 7. М—Н.
Мінск, 1991

Этимологический словарь белорусского языка. Т. 7

Первые тома словаря справедливо получили весьма высокую оценку [1—2]. Она отчасти может быть отнесена и к очередному тому, сохраняющему отмечавшиеся ранее достоинства словаря — богатство привлекаемой лексики, внимание к этно- и лингвогеографическим данным и др. [там же]. Отсутствие места вынуждает нас, однако, сосредоточиться не на них, а на весьма заметных и многочисленных недостатках книги, которые уменьшают ее значение как первого опыта сплошной этимологизации белорусской лексики, точнее — алфавитного отрезка словника от *Мг* до *Не* (не *Ня*, как неточно указано на обороте титульного листа). Заметим, что наши замечания относятся в большинстве случаев к первой половине тома (*Мг—Мя*), где количество серьезных недочетов, по-видимому, превышает некую критическую величину, чего, пожалуй, нельзя сказать о второй половине (*На—Не*).

Для первой половины, к сожалению, характерно недостаточно корректное обращение с привлекаемым материалом, что выражается, прежде всего, в многочисленных неточностях при цитировании славянских и других факторов. Ситуация усугубляется тем, что эти факты — за исключением собственно белорусских — даются в основном без ссылок на источник, из-за чего проверка оказывается затруднительной. Допускается недостаточно строгое и последовательное использование реконструкций. В первой половине книги, в отличие от второй, они, кстати, обычно не снабжаются астериском, что иногда приводит к недоразумениям: как следует понимать некое *malŭ* 'малый' в статье *мѣдзены*, подаваемое на правах праславянской реконструкции? Последовательности в реконструкциях не наблюдается даже в репертуаре графем. Так, пра-

слав. *x* обозначается в виде *x* (*měxъ*, с. 27) и *ch* (*měchъ*, с. 154).

Обращает на себя внимание статья *меж*'между'. Здесь не дается польское соответствие, зато приводится ст.-польск. «*mĳdzy*», хотя правильнее было бы ст.-польск. *mĳdzy*, польск. *mĳdzy* (ринезм вторичен). Если «каш. *mĳdzĕ*» взято у С. Рамулта (о чем можно только догадываться), — то следовало бы дать каш. *mjezĕ*. Если «поморск. *mĳzā*, *mĳdzy*, *mĳdzĕ*» почерпнуты у Ф. Лорентца и Б. Сыхты (?), то почему не *mĳzā*, *mĳzā*, *mĳezĕ*? Ошибочны в.-луж. «*mjeze*», (надо: *mjezy*), с.-хорв. «*meŭi*, *meŭu*» (: *meŭu*, *meŭu*), др.-инд. «*māg-yē*» (: *mādhye*), авест. «*maidya-*» (: *maidya-*). Откуда взяты вызывающие недоумение «макед. кюстендилск. *meŭi*, болг. *меж*»? Почему, наконец (не говоря о прочем), с.-хорв. *meŭu*, чак. *meju*, *mei* отнесены к праслав. **medji* в статье *меж*, а не к **medju* в соседней статье *мѣжды*? Сходные замечания могут быть высказаны и по многим другим статьям. Ограничимся несколькими примерами: праслав. **mezinŭ*» (с. 8; надо — *mĕzinŭ*), «*mĕlti*» (с. 10; — *mĕlti*), др.-в.-нем. «*māa*» (с. 17; — *māza*), фин. *monni* «налим» (с. 17; — 'сом'), праслав. *mĕšesъ*, *mĕšesъ* (с. 23; в обоих случаях надо: *mĕšesъ*), авест. «*maŭu-*» (с. 31; — *maŭu-*), прус. «*maiŭn*» (с. 32; — *maiggun*), «*muzgenō*» (с. 63; — *musgenō*), лат. «*mens*» (с. 63; — *meus*), греч. «*πρωτός*» (с. 81; *πρωτός*), праслав. «*modrovati*» (с. 81; — *modrovati*), праслав. «*mptъnъ*» (с. 104; — *mptъnъ*), «*тъnъnъ*» (с. 119; *тъnъnъ*), «*тъсь >тъk-ŭ*» (с. 122; — *тъсь <тъk-ŭ*), греч. «*Μοῦσαι*» (с. 123; — *Μοῦσαι*), ст.-лит.

**mžiti*» (с. 135; — *mžiti*), др.-англ. «*meesc-*» (с. 135; — *mxc-*), и.-е. «*moig'h-*» (с. 135; — *meig'h-*), лтш. «*mikus*» (с. 138; — *mīkns*), праслав. «*męqǫ*» (с. 139; — *męqǫ*), праслав. «*mękčiti*» (с. 140; — *mękčiti*), словен. «*měati*» (с. 151; — *měati*), праслав. «*měs*» (с. 155; — *měs*), «*męk-ja*» (с. 155; — *męk-ja*). Некоторые факты выглядят загадочно, например, «чехослов. *МАтежь*» (с. 154).

Ср. во второй половине книги: «*Naguan*» (с. 184; — *Naguan*), праслав. «*nadejati se*» (с. 197; — «*nadejati se*»), лит. *nāras* «нырнуть» (с. 241; надо: лит. *nāras* 'гагара', 'водолаз', повторена неточность в [3, т. III, с. 82]), праслав. «*narъvati*» (с. 242; — «*narъvati*»), праслав. «*tъstvъ*» (с. 291, трижды; надо: «*tъstvъ*»), «*sъrdce*» (с. 291; — «*sъrdce*»), лит. «*man nosij niēžėti*» (с. 309; *man nosij niēžėti*), праслав. «*zivetъ*» (с. 309; — «*zivetъ*). При этом в действительности имеется в виду, кажется, «*ziti*».

Из статей тома, где содержатся наиболее серьезные неточности по этимологии и реконструкции, можно указать: *мѣшкацца* («*měškatъ*» *sp*; — сюда нельзя относить словен. *měškati* < «*měškati*»; в соответствии с [4, Lief. 12, s. 926] к *мѣшкацца* не относится и в.-луж. *mješkorіć* ('медлить, копаться и др.'), *міг* (н.-луж. *mikaś*, в.-луж. *mikaś* не к «*migati*», а к «*mikati*»), *мігацѣць*, (к и.-е. «*meigh-*», а не «*meig-*»), *мірон*, (А. Г. Преображенскому приписывается «неубедительная» этимология русского диалектного названия рыбы *surginus barbuis*, *мірон*, от имени *Антон*; но в [5, т. I, с. 539] говорится об имени *Мирон* и названии яблока — *антоновка*), *мжаць* (не к и.-е. «*meik-/meig-*», а к «*meik-*»), *морак*₁ (к и.-е. «*mer()k-*», а не «*meig-*»; аргументация В. А. Меркуловой [6, с. 59] используется без понимания ее сути), *мяккаць* (смешаны рефлексы «*mękьkostъ*» и «*mękostъ*»), *мякката* (смешаны рефлексы «*mękьkota*» и «*mępkota*»), *мяняць*₂ (из и.-е. «*mei-no-*», а не из «*men-*», ср. в статье *мніцельны* правильное различение праслав. «*měniti*» и «*mьněti*» < и.-е. «*men-*»), *мячыць* (смешаны рефлексы «*męčiti*» и «*měškatъ*»), *настаяшча* (ст.-слав. нас ∇ *штънь* не от «*sъbъ* ('эць')», а калька с греческого; к дальнейшему ср. «*sy* ('сущий)», образование с суффиксом причастия от основы «*s-*», откуда и форма 3 л. мн. ч. «*sъbъ*» < «*s-o-nti*»), *нафта*

(греч. *νάφθα* ('нефть') заимствовано не из персидского, а из «иранского в ранний период» [3, т. III, с. 70]).

Даже отвлекаясь от содержащихся в первой половине книги явных ошибок и опечаток, ее общий этимологический уровень трудно признать высоким (ряд недочетов обнаруживается и во второй половине). Этимологические объяснения, как правило, представляют простую отсылку к производящему корню (ср. [1, с. 174]), попытки же словообразовательной и иной детализации далеко не всегда удачны. Слишком часто дает о себе знать тенденция удовлетвориться приблизительными, натянутыми сравнениями. Велико количество лакун в используемой литературе, причем речь идет нередко о таких изданиях, как «Этимологический словарь славянских языков» [7], ежегодники «Этимология» и «Балто-славянские исследования». Показательный пример — объяснение очень интересного блр. диал. *мерд* ('мужчина') как иранизма, которое не учитывает соображения, высказанные в связи с «ятвяжск.» *tard* ('человек') [8, с. 126]. Неучет важных работ по соответствующей лексике весьма отрицательно сказался на содержании статей *мѣшкацца*, *мікіткі*, *мўмра*, *мўслиць*, *нагальны*, *наглы*, *налім*, *нападарэндзе*, *наспакудзіць*, *нахахорыцца*, *негаразд* и др.

Ряд конкретных просчетов, по-видимому, предопределяется серьезной недооценкой праславянского фонда белорусской лексики.

Явно недостаточно учитываются славянские соответствия белорусских слов. Разумеется, приведение полного корпуса таких данных — задача словарей, реконструирующих праславянский лексический фонд, но необходимость более солидной славистической базы представляется для белорусского этимологического словаря очевидной. Издание очередных выпусков [7] подтвердит, что в рецензируемом томе остались неучтенными или недостаточно учтенными славянские (иногда общеславянские, иногда — только русские и т. п.) соответствия в статьях *мѣжды*, *мѣжнік*, *мѣкаць*, *мѣкятъць*, *мѣліва*, *мѣлін*, *мѣльня*, *меляя*, *мерці*, *мѣски*, *мѣсца*₁, *мѣсячнік*₃, *мѣшка*, *мжыць*, *міжаць*, *міжпѣрс(т)ніца*, *міжпа́рніца*, *мікаць*, *мікіткі*, *мікіціца*, *мікіш*, *м ілаваць*, *міласлівы*, *міласцівы*, *мілка*, *міма*, *мінаць*, *мінджа*, *млоць*, *множыць*, *мноства*, *могалицы*, *моладзь*, *морхлы*, *мот*, *моча*, *мудрэц*, *мужатка*, *мужскі*, *мжычына*, *мжыць*, *мўкаць*,

му́лица, му́лиць, му́ні, му́ня, му́ркаць, му́ка, му́слиць, му́тар, му́тоу́ка, му́харанка, му́чанік, му́ркаць, мядні́к, мяжджу́лиць, мяздры́ць, мязю́к, мякета́ць, мякі́на, мякшы́ць, мя́ла, мяле́ц, мяле́ць, мяржа́, мя́цьва, мяшо́к, набэ́дры, набда́, на́білка, на́бірка, набой́, набор́, набро́іць, наважа́ць, навялі́цца, нагіна́ць, надае́сьць, надакучы́ць, на-дворак, надвор'е́, на́дзіць, нады́баць, наме́т, наметка́, нане́т, напава́ць, напроці́, нара́д, нарадзі́ць, нарака́ць, на́хта, нача́так, нашар-мака́, на́шча, наю́дзіць и, вероятно, некоторые другие. Между тем, в томе есть статьи, где славянский материал подан достаточно полно (см., например, *набрака́ць*).

Оценивая достоверность предлагаемых в 7-ом томе этимологий, приходится признать многие из них необоснованными — прежде всего многие из тех, согласно которым белорусские слова объясняются как заимствования (а также кальки и иные результаты языковой интерференции) из балтийских, польского, а также других языков. Безусловно, что немало заимствований выделено правильно. Но в целом ряде случаев заимствованное происхождение устанавливается с чрезмерной легкостью, особенно для балтизмов — невзирая на очевидные натяжки. Приведем лишь несколько из очень многих белорусских слов, для которых версия о заимствовании (калькировании, влиянии и т. п.) представляется нам ошибочной или небесспорной: *ме́жань* 'весеннее движение соков в деревьях' (< праслав. **medjēnъ*, сюда и *межань* 'уровень воды в речке'), *мелюзга́* 'мелюзга' (< **mělzga*, производное с экспрессивным суффиксом *-uzga*), *мізине́ц* 'младший сын' (< **mězĩnъ*, почему из польского?), *міжджу́ць* 'хотеться' (сближение с лит. *māusti* 'ныть' неудовлетворительно; скорее к *мяжджу́лиць* 'дробить, раздавливать', с изменением значения, ср. ниже), *мізгі́р* 'паук' (< **mězgyrъ*, почему балтизм?), *мікішы́* 'мускулы' мн. ч. (< **měkyšy*), *мі́лка* 'возлюбленная', *міло́к* 'возлюбленный' (быть может, не из рус. *мі́лка*, *міло́к*, а из праслав. **milьka*, **milьkъ*, ср. еще — в качестве генетического соответствия — лит. *mielùkė* 'милка', *mielùkas* 'милок'), *мільга́ць* 'мелькать' (если М. Фасмер [3, т. II, с. 597] сравнил рус. *мелька́ть* с *мерца́ть*, лит. *mėrkti*, то это еще не значит, что блр. *мільга́ць* — балтизм), *міну́лька* 'шмель' (объяснение из некоего **ка-ману́лька* в связи с лит. *katānė*

'шмель' невероятно), *мінну́ць* (предположение, что праслав. **minpti* возможный кельтизм просто странно), *мло́сьць* 'ощущение слабости' (почему полонизм, а не рефлекс **mьdlostь*?), *могали́цы* 'кладбище', 'могилки' мн. ч. (где подтверждения, что это «семантическая калька» лит. *kapai*, почему не наоборот? — ср. рус. *могі́лки*), *мо́льгз* 'мальки, мелкие рыбы' (лес, сплавляемый отдельными бревнами) (балтизм? не учтено [9]), *морма́* 'неразговорчивый человек' (каким образом могло быть заимствовано из греч. *μορμῶ*?), *му́жатка* 'замужняя женщина' (из праслав. **mьzъtьka*, а не из польского! ср. хотя бы рус. диал. *му́жатка* 'то же'), *му́жлава́ць* 'рыться в еде (например, о свинье)' (едва ли из лит. *mūzlioti* 'мучить'; может быть, к словен. *miziti* 'мять, давить, жевать беззубым ртом?'), *му́мра*, *мо́мра* 'неразговорчивый человек' (почему не к *мы́мра* < **mьmra* [10, с. 168], а к *му́ма* 'то же' < лит.?), *мур*, *му́рк* 'о мурлыкании', *му́ркаць* 'мурлыкать' (едва ли есть смысл усматривать в этих словах балтизмы, ср. рус. *мур-мур*, *му́ркать*), *му́ргачь* 'моргать' (< **mьrgati*, ср. сюда же рус. диал. *мургать* 'то же'), *му́рог* 'луговое сено лучшего качества' (не балтизм, а рефлекс праслав. **mьurogъ*; лтш. *tauragas* 'растение ястребинка' и др. — генетические соответствия), *му́тар* 'хлопоты, тяжелая, неприятная работа' (не к *мы́та* 'пошлина', заимствованного происхождения, а к рус. *му́торить*, *му́торный*, упоминаемым в статье *му́тарна*, ср. праслав. диал. **mutoriti* или **mьtoriti* и т. п.), *мышкава́ць* 'вышухивать (о животных)', 'искать, выпытывать', 'мышковать' (к *мышь*; предположение о связи с лит. *mīšyti* 'мешать' совершенно излишне), *ме́зю́н*, *мізю́н* 'мизинец' (< **mězilьpъ*, см. в статье *мязю́к*), *мяк* 'налим' (не к лит. *mėknė* 'язь', а к *мяк* 'шмяк', далее к *мя́кнуцца* < **mьknpti*; отсылка от *мяк* к *шмяк* едва ли имеет смысл, поскольку *шмяк* вторично), *мякета́ць* 'о звуках, издаваемых бекасом' (не балтизм, а рефлекс праслав. **mьkьtati*, ср. словен. *meketati* 'блеять' и т. п.), *мярши́чыцца* 'казаться' (скорее непосредственно из праслав. **mьršiti sę*, чем через посредство рус. *мерещи́ться*), *набда́* 'прибыль, мзда' (< **narьta*, **narьtati*, см. подробнее [11]), *накэ́рзаць* 'сделать неумело, напортить', *кэ́рзаць* 'неумело плести' (славянскую — из праслав. **kьrзati* — а не литовскую этимоло-

логию см. [7, вып. 13, с. 243]), *насёне* ('семя') (почему полонизм, а не рефлекс **nasenbje*?).

Перечень возможных претензий (во многих случаях, на наш взгляд, весьма серьезных) и поправок к статьям рецензируемого тома можно продолжать еще очень долго. Приведем некоторые из них: *мжыць* 'закрывать глаза' (не из **migati*, в из **mžiti*, ср. хотя бы рус. *мжыть* 'жмурить глаза'), *мікіціца* 'капризничать', *змікіціць* 'догадаться' (ср. рус. *с-микитить*, далее, вероятно, к *с-мекать*, см. *мекачь*), *мінджа* 'молчаливый человек' (ср. рус. диал. *мінжа* 'кривляка' и, возможно, лтш. *mīndža* 'ein mannstolles Frauenzimmer' [12, Bd. II, S. 629] ? к семантике ср. рус. *мымра*, *мот* 'транжира' (вероятно, из рус. *мот* 'то же'), *мядуніца* 'растение селезеночник' («неясно»; — почему нельзя связать с *мядуніца*_{1,2,4}, далее к *мёд* ?), *мяджуліць*, *мяджу'ліць* 'дробить, раздавливать' (к праслав. **mždžiti*, **mžga*, а не к *мозг*), *наба* (при упоминании с.-хорв. *na'bas* 'красивый, превосходный' не учтено реконструировавшееся в [7, вып. 1, с. 172] праслав. **baskъb*), *нагальны* 'напористый' и проч. (почему бы не связать с праслав. *galiti* [7, вып. 6, с. 92—94]), *на́лля* 'орава' (выведение из **на́гля* фонетически затруднительно; может быть, из **na-lъje*, ср. рус. диал. *налье* 'груда камней, мелкий камень' и т. п. ?), *намесь* 'именно' («неясно»; теоретически возможно исходное **na jъne sb*), *намнесь* (едва ли из **на дньсь*, ср. рус. диал. *ономнясь* < *ономь днь се*), *напу́ганы* 'одетый чрезмерно' (ср. еще рус. *пу́га* 'тупой конец яйца' и проч. [3, т. III, с. 399]), *наслѣ́днік* (охотничья собака, которая идет по следу) (полезно иметь в виду прус. *slidenikis* 'Leithund', польск. *ślećnik*), *наспаку́дзіць* 'надоеть' («неясно»; почему бы не обратить внимание на слав. **kuditi* [7, вып. 13, с. 82—83] ?), *наха́ба* 'напасть' (не учтено слав. **xabiti* [7, вып. 8, с. 8—9]), *начапу́рыцца* 'нарядиться' (было бы бесполезно вспомнить праслав. **šepeliti*, **šepuriti*, **šepuriti* [7, вып. 4, с. 55—58]), *нашарма́к* 'как-нибудь, как попало' (следовало бы привлечь рус. *шаромыга* 'мошеник' и т. п., см., в частности [3, т. IV, с. 411]), *наю́дзіць* 'подговорить' (не учтено слав. **juditi* [7, вып. 8, с. 191—192]), *не́га* 'ласка, нега' (значение 'любит' [точнее было бы 'прилипает, имеет склонность'] у др.-инд. *snihyati* производно от 'является влажным,

липким'), *негарэ́д* (не учтено слав. **gorazdъ* [7, вып. 7, с. 32]).

Ряд замечаний мог бы быть высказан по словнику, точнее, по отбору этимологизируемых слов, выделению омонимов и распределению материала между отдельными статьями словаря. Ограничимся выборочным перечнем слов, которые, на наш взгляд, должны были быть включены в словник, но остались за его пределами (расшифровку сокращений см. [7]): *мокі* 'вымя' (Юрчанка. Народнае слова. М-Р, с. 19), *му́чка* 'кустистая мягкая трава' (Жывое слова, с. 213), *надра* 'лоно' (Скарына, т. I, с. 237), *нало́й* 'пар в бане' (Касьяновіч, с. 200), *нало́п*: з *нало́ту*, *нало́пым* 'неожиданно' (Бялькевіч. Магіл., с. 276), *намо́гі* 'натрудить' (Слоўн. паўноч.-заход. Беларусі, т. 3, с. 148), *напéтрыць* 'набить' [13, т. 3, с. 149], *напо́лініць* 'наполнить' [13, т. 3, с. 151], *напóр* 'сильный пар' [13, т. 3, с. 152], *напратáць* 'побить, поколотить' (Юрчанка. Мсцісл., с. 141), *напрэ́ці* 'отлупить' (3 народнага слоўніка, с. 255), *напэ́рыты* 'отлупить' (Жывое слова, 100), *напу́дзіць* 'напугать' [14, с. 282], *нарэ́п іцца* 'потрескаться' [14, с. 284].

Общее впечатление некоторой недоработанности материалов словаря дополняют случаи нарушения алфавитного порядка (см. с. 4—5, 10, 105, 252), отсылки к пропущенным статьям (ср. *напáшкі* с отсылкой к *наапáшкі* — но такой позиции в словаре мы не обнаружили), ошибочных или непонятных сокращений в названиях языков и диалектов: «серб. ст.-слав.» (с. 35; надо: серб. ц.-слав.), «зэнд.» (с. 61; надо: авест.), «балк. ст.-слав.» (?) (с. 57) — и сходные досадные упущения.

Аникин А. Е.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Меркулова В. А. Рецензия на кн.: Этималагічны слоўнік беларускай мовы. Т. 1. Мінск, 1978.— В кн.: Этимология 1979. М., 1981.
2. Меркулова В. А. Рецензия на кн.: Этималагічны слоўнік беларускай мовы. Т. 2. Мінск, 1980.— В кн.: Этимология 1980. М., 1982.
3. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. I—IV. М., 1986 (2-е изд.).
4. Schuster-Sewc H. Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache. Lief. 1—24. Bautzen, 1978—1989.
5. Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского языка. Т. I—II. М., 1910—1914 (1958).

6. Меркулова В. А. Украинские этимологии. I.— В кн.: (Этимология 1973. М., 1975).
7. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 1—17. М., 1974—1991.
8. Орел В. Э., Хелимский Е. А. Наблюдения над балтийским языком польско-«ятвяжского» словарика.— В кн.: Балто-славянские исследования 1985. М., 1987.
9. Топоров В. Н. К объяснению некоторых культурных слов в прусском.— В кн.: Этимология 1978. М., 1980.
10. Осипова М. А. К этимологии рус. *мормыш*, *мормышка*.— В кн.: Этимология 1986—1987. М., 1988.
11. Трубачев О. Н. Наблюдения по этимологии лексических локализов (славянские этимологии 48—52).— В кн.: Этимология 1972. М., 1974.
12. Mühlenbach K. Lettisch-deutsches Wörterbuch, ergänzt und fortgesetzt von J. Endzelin. Bd. I—IV. Riga, 1923—1925.
13. Тураўскі слоўнік. Т. 1—5. Мінск, 1982—1987.
14. Сцяшковіч Т. Ф. Слоўнік Гродзенскай вобласці. Мінск, 1983.



Sermons and Rhetoric of Kievan Rus'. Translated and with an Introduction by Simon Franklin (Harvard Library of Early Ukrainian Literature. English Translations. V. V). Harvard. 1991

Проповеди и риторика в Киевской Руси/Пер. и введение С. Франклина

Книга С. Франклина (Кембридж)¹ опубликована в серии английских переводов Гарвардской библиотеки древней украинской литературы, являющейся частью Гарвардского проекта празднования 1000-летия крещения Украины-Руси. Библиотека включает древнерусские оригинальные произведения, созданные на Руси-Украине с середины XI до конца XVIII в. и издается в трех сериях: оригинальные тексты, английские переводы и украинские переводы.

В соответствии с принципами издания библиотеки, этот том состоит из обширного Введения, текстов переводов, приложений, библиографии и двух словоуказателей — библейских цитат и именного. В книге содержится первый полный перевод на английский язык Послания Климента Смолятича к пресвитеру Фоме и сочинений Кирилла Туровского, а также новый перевод «Слова о законе и благодати» Илариона.

Ввиду вынужденной неполноты сведений о составе и жанровом членении древнерусской оригинальной литературы, выбор наиболее представительных в каком-либо отношении авторов и их сочинений всегда является, конечно, условным. Автор рецензируемого тома и не стремился представить древнерусскую риторику во всей полноте этого жанра, указывая, что за пределами книги остались разнообразные риторические тексты и пассажи, содержащиеся в летописях, житиях, в Молении Даниила Заточника, «Слове о полку Игореве», в гимнографии и молитвах. Выбор остановлен на творчестве Илариона, Климента Смолятича и Кирилла Туровского, которые принадлежали к культурной элите своего времени и прославились в качестве литераторов высокого значения. Двое из них — Иларион и Климент — русские родом, были возведены на киевский митрополичий престол и возглавляли русскую церковь. Но главное в данном случае — это то, что Иларион, Климент и Кирилл — выдающиеся мастера риторического искусства, представители одной, авторитетной во всей последующей русской литературе «школы» византийско-русского красноречия. Характеризуя эстетические принципы этих писателей, С. Франклин отмечает, что они пытались «проникнуть под покров видимых феноменов и исторических фактов, продемонстрировать постоянное присутствие вечного во временном, показать аллегорические и символические отношения, посредством которых внешне разведенные и бессмысленные частности оказываются гармонически связанными» (Р. XIV). В то же время, подчеркивает С. Франклин, Иларион, Климент и Кирилл отличаются принципиально

¹ Автор работ по византийской и русской истории, в том числе книги «Studies on Byzantine Literature of the Eleventh and Twelfth Centuries». Cambridge, 1984 (в соавторстве с А. П. Кажданом).

друг от друга, поскольку они писали различным образом и о различных вещах. В частности, Климент почти не использовал ритмическую и ассонансную технику, которой славились Иларион и Кирилл. В экзегезе Иларион остается на уровне библейской типологии и префигурации, тогда как Климент и Кирилл часто расширяют типологию до аллегории и символа (Р. СII—CIV).

Предпосылаемое изданию Введение демонстрирует основательную подготовленность автора в обсуждаемых вопросах и импонирует осторожной критичностью в интерпретации фактов биографии и творчества писателей и высказывавшихся на их счет мнений. Здесь скорее обсуждаются ключевые вопросы, возникающие при изучении исторических обстоятельств жизни и творчества этих писателей и литературных связей их произведений, чем делается попытка представить все, что было о них сказано. Образцом такой скептической оценки источников может служить начало главы, посвященной Кириллу Туровскому: «Кирилл Туровский, возможно, существовал. Если он существовал, то он, возможно, жил с середины до конца XII века, был, конечно, монах и потом, возможно, епископ Турова. Он мог, следовательно, написать ряд „слов“ и молитв и, возможно, несколько писем» (Р. LXXV). Переходя тем не менее к анализу имеющихся фактов, С. Франклин предлагает весьма убедительные соображения, приводящие к возможной датировке периода жизни Кирилла — 1130—1182 гг.

Личность Илариона и его творчество, особенно знаменитое «Слово о законе и благодати», привлекают в последнее время наибольшее внимание, при этом высказываются самые разные точки зрения. Поэтому высказывания С. Франклина об этом авторе представляют особый интерес.

Сохранившиеся сведения об Иларионе настолько скудны, замечает С. Франклин, что не дают почти никаких оснований для ответов на вопросы о причинах и обстоятельствах поставления Илариона в митрополиты. «Мы любим читать между строк, т.е. когда сохранилась только одна строка, тогда нет основания для чтения между» (Р. XXVI). Разбирая традиционные аргументы, которые приводятся в доказательство того, что причиной поставления в митрополиты «русина» Илариона было стремление Ярослава добиться для Руси церковной автономии, С. Франклин обращает внимание на то, что хотя национальность для Византии не была безразлична и местные митрополиты были крайне редки, однако требование состояло не в том, чтобы иметь гречанку мать или отца-грека, а в том, чтобы быть причастным к византийской культуре. Известное летописное сообщение «Постави Ярославъ Ларишна митрополитомъ. Русина...» лишь констатирует факт, а не обозначает проблему.

Далее С. Франклин замечает, что процедура настояования Илариона была, очевидно, действительной, судя по молчанию об этом византийских источников. Автор, правда, не указывает, что впервые эту мысль высказал в 1972 г. Л. Мюллер [1] и потому остается неясным, что понимает С. Франклин под процедурой поставления Илариона: избрание его на соборе епископов или все же, по мысли Л. Мюллера, его назначение константинопольским патриархом.

Вопрос об антииудейской полемике в «Слове о законе и благодати» недавно вызвал новую волну дискуссии [2]. Откликаясь на нее, С. Франклин присоединяется к мнению тех исследователей, которые видят в критике Иларионом иудейского Закона традиционный риторический прием, использовавшийся в то время греческими и славянскими богословами [3]. Показательно, пишет он, что когда Иларион обращается от библейских сюжетов к недавнему прошлому Киева, он изображает христианство побеждающим не иудаизм, а язычество. Нельзя не согласиться с мнением ученого, замечаящего в связи с этим, что у Илариона не следует искать скрытых мотивов (Р. XXXVIII).

Рассуждая о единстве «собрания сочинений» Илариона, сохранившегося в своеобразной «авторизованной» версии в Синодальном списке ГИМ, С. Франклин характеризует его как жанровую комбинацию, характерную для средневековых текстов. На этом основании он склонен присоединять «Молитву» Илариона к «Слову о законе и благодати» в качестве его последней части. Неожиданным является после этого исключение из публикации заключающих этот ряд Символа веры и «Исповедания веры» Илариона с его записью о поставлении в митрополиты. Если даже отвлечься от того факта, что начало Символа веры в рукописи находится в одной строке с концом «Молитвы» и при этом никак не выделено графически (с чем нельзя не считаться), «Исповедание веры» Илариона и по своему риторическому характеру вполне соответствовало бы тематической направленности книги.

При подготовке перевода С. Франклин стремился, по его словам, «удобства ради», основываться на каком-либо одном издании каждого из трех авторов. И потому больше всего сложностей, по его словам, доставили ему издания Илариона, осуществленные А. В. Горским, Л. Мюллером, Н. Н. Розовым, А. М. Молдованом и Т. А. Сумниковой. Ибо хотя все издания воспроизводят текст одной и той же рукописи, все они, по мнению С. Франклина, «существенно отличаются в деталях» (С. СХІ). С. Франклин, безусловно, прав: у нас пока еще нет сводного критического издания Илариона. Однако так ли затрудняет его отсутствие работу над сочинениями Илариона? Первая публикация Синодальной рукописи, осуществленная А. В. Горским [4], и ее перепечатка в книге Л. Мюллера [5], конечно, абсолютно непригодны для научного использования вследствие значительной степени расхождения этой публикации с оригиналом. Но в изданиях Н. Н. Розова [6] и Т. А. Сумниковой [7] полный текст Синодального списка воспроизводится в принципе адекватно, вдобавок в издании Т. А. Сумниковой представлено и факсимиле рукописи. За исключением некоторого количества ошибок и опечаток (особенно в публикации Н. Н. Розова), существенного отличия в деталях передачи текста рукописи между этими изданиями нет.

В нашем издании [8] воспроизводится по Синодальному списку этот же адекватный текст 1-й редакции «Слова о законе и благодати» со сводными, общими разночтениями всех известных списков 2-й и 3-й его редакций. Это позволяет, во-первых, с уверенностью считать не варьирующийся в списках текст относящимся к оригиналу XI в., а во-вторых, — анализировать в дальнейшем не индивидуальные разночтения произвольно выбранных списков, гадательно определяя степень их аутентичности, а лишь текстологически значимые разночтения архетипов их редакций, в этом состоит и оценка приведенных разночтений. Что касается «Молитвы» Илариона, то достаточно представительный материал разночтений 14-и списков двух ее редакций содержится в отдельном издании Н. П. Розова [9], которое, кстати, в книге С. Франклина хотя и указывается в библиографии, но реально при переводе Молитвы не используется.

Наконец, С. Франклин имел возможность пользоваться подробным комментарием к произведениям Илариона, содержащимся в издании Л. Мюллера, а также опубликованными им позднее исправлениями и дополнениями к этому комментарию [5, 10, 11].

Все это говорит за то, что материал публикаций и комментариев к «Слову о законе и благодати» представляет сейчас как раз уникальные возможности для его научного исследования и перевода, чего нельзя сказать о подавляющем большинстве других древнерусских памятников. Даже издание сочинений Кирилла Туровского далеко от такого состояния, вопреки оценке С. Франклина, считающего издание И. П. Еремина критическим. Несмотря на значительное количество использованных И. П. Ереминым в разночтениях списков, они, во-первых, далеко не исчерпывают реального числа известных списков сочинений Кирилла [12], а во-вторых, не вполне выяснены их текстологические взаимоотношения, не говоря уже о том, что списки, публикуемые в качестве основных, передаются в упрощенной орфографии.

Что касается Послания Климента Смолятича, то можно только посетовать вслед за С. Франклином, что представление об этом сочинении с давних пор строится на публикациях только двух его списков.

В целом, сделанные С. Франклином переводы демонстрируют высокий уровень знания языка и понимания содержания переведенных памятников.

Обращают, однако, на себя внимание некоторые неточности перевода, отчасти, впрочем, уже ставшие традиционными. Например, фразу «Гѣ блѣ(с)ви ѿ(ч)», которая находится в произведениях Илариона, Климента Смолятича и Кирилла Туровского между заглавием и началом текста, С. Франклин переводит как «O Lord, give your blessing, father!», где написание с заглавной буквы Lord указывает на Бога, но father написано почему-то с маленькой буквы. Еще А. В. Горский в издании сочинений Илариона воспроизвел эту фразу с употреблением заглавных букв, считая ее обращением к Богу: «Господи благослови Отче!» [4. С. 223]. Атеистическая орфография советского времени устраняла здесь проблему однозначной интерпретации, поскольку имена земного отца и небесного Отца требовалось писать равно с маленькой буквы. В церковном издании перевода «Слова о законе и благодати» находим, однако, «Господи, благослови, Отче» [13. С. 316]. В переводе Л. Мюллера, в соответствии с немецкой орфографией, оба имени написаны с заглавной буквы: «Herr, segne, Vater», и адресат, к сожалению, не уточняется в комментарии [5. S. 25]. В чешском переводе читаем:

«Pape, požehnej, Otcе» [14. S. 37]. Между тем эта фраза, которая встречается, как правило, в древних рукописях, а в дальнейшем заменяется на привычное и сейчас «благослови, отче», является формулой обращения не к Богу, а к игумену за благословением перед началом монастырского чтения. В ней отражено древнее, первичное значение слова «господь» — 'господин, владыка (т.ж. игумен), хозяин, *χίρσζ, δεσλότῆρς*'.

Еще одна из таких традиционных ошибок также восходит к первой публикации А. В. Горского и основана на ложной конъектуре в «Молитве» Илариона. В предложении «[Д]онелѣ же бо благопризираніе твое на насъ. бл̄годенствѣемъ» писец Синодального списка забыл написать киноарный инициал (Л. 197а9—10). А. В. Горский весьма произвольно воспроизвел это слово как «Отънелѣ же» [4. С. 250]. Опираясь всецело на его публикацию, Л. Мюллер, хотя и упомянул в своем издании написание «Донелѣ же», представленное в других опубликованных списках «Молитвы» (Румянцевской кормчей и рукописном Уставе Новгородского Софийского собора), однако счел это написание более поздней заменой [5. S. 135]. В публикации Н. Н. Розова также воспроизведена эта ошибочная реконструкция А. В. Горского, правда, более корректно по отношению к оригиналу: «[w]онелѣ же» [6. С. 172]. В издании Т. А. Сумниковой — «онелѣ» с примечанием «описка, вм. нелѣ» [7. С. 36]. Соответственно, и в переводах читаем: «Denn seit du mit Wohlgefallen auf uns blickst...» [10. S. 54], «С тех пор, как благосклонно опекаешь...» [7. С. 60]. И в переводе С. Франклина: «For since Thou hast watched well over us...» (Р. 27). Между тем неудачная и в палеографическом отношении реконструкция «[w]онелѣ же» не получает подтверждения ни в одном из известных списков Молитвы. Во всех списках обеих ее редакций здесь читается «донелѣ же» [9. С. 131, 139].

Если не считать подстрочных примечаний к переводу, в которых указываются библейские цитаты и единичные выбранные для перевода варианты разночтений, С. Франклин в целом избегает «реального» комментирования. Между тем такой комментарий мог бы облегчить читателю-неспециалисту понимание публикуемых весьма сложных произведений, тем более, что, насколько можно судить по переводам, С. Франклин глубоко и основательно знает как сами тексты, так и посвященную им литературу. Отчасти компенсируют этот недостаток помещенные в Приложении небольшие заметки, представляющие, кстати сказать, и самостоятельную ценность (о вероятности участия монаха Афанасия в возможной переработке Послания Климента Смолятича, о библейской и апокрифической генеалогии по данным этого Послания и др.).

Отрадно, что, благодаря книге С. Франклина англоязычный читатель получил наконец возможность ознакомиться с произведениями лучших авторов домонгольской Руси.

Молдован А. М.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Müller L. Staat und Kirche in der Rus' im II. Jh. Bemerkungen zu einem Buch von Andrzej Poppe//Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 20 (1972). S. 243f.
2. Топоров В. Н. Работники одиннадцатого часа. «Слово о законе и благодати» и древнекиевские реалии//Russian Literature XXIV (1988). P. 20—27; Кожин В. В. Творчество Илариона и историческая реальность его эпохи//Вопросы литературы. 1988. № 12. С. 130—150; Робинсон М. А., Сазонова Л. И. Мнимая и реальная историческая действительность эпохи создания «Слова о законе и благодати» Илариона//Вопросы литературы. 1988. № 12. С. 151—175; Кожин В. В. Несостоятельные ссылки//Вопросы литературы. 1989. № 9. С. 236—242; Робинсон М. А., Сазонова Л. И. Несостоятельные идеи и методы//Вопросы литературы. 1989. № 9. С. 242—252.
3. Молдован А. М., Юрченко А. И. «Слово о законе и благодати» Илариона и «Большой Апологетик» патриарха Никифора//Герменевтика древнерусской литературы: Сборник 1. М., 1989. С. 5—18.
4. [Горский А. В.] Памятники духовной литературы времен великого князя Ярослава I//Прибавления к творениям святых отцов в русском переводе. Ч. II. М., 1844.
5. Müller L. Des Metropoliten Ilarion Lobrede auf Vladimir den Heiligen und Glaubensbekenntnis. Wiesbaden, 1962.
6. Розов Н. Н. Синодальный список сочинений Илариона — русского писателя XI в.//Slavia. Roc. 32. Praha. 1963. Ses. 2. S. 141—175.
7. Идейно-философское наследие Илариона Киевского. Ч. I. М., 1986.
8. Молдован А. М. «Слово о законе и благодати» Илариона. Киев, 1984.

9. *Pozov H. H.* Из творческого наследия русского писателя XI в. Илариона // *Acta Universitatis Szegediensis de Atila Josef nominatae. Dissertationes slavicae.* IX—X. Szeged, 1975. P. 115—155.
10. *Müller L.* Die Werke des Metropoliten Ilarion. München, 1971. (Forum slavicum. Bd. 37).
11. *Müller L.* Neue Untersuchungen zum Text der Werke des Metropoliten Ilarion // *Russia Mediaevalis.* Bd. 2. München. 1975. S. 73—91.
12. *Алексеева Т. А.* Сборники постоянного и варьирующегося состава со словами Кирилла Туровского // *Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописей для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР.* Вып. 2. Ч. 1. М. 1976, с. 236—256.
13. *Богословские труды,* 28. М., 1987. С. 315—343.
14. *Pisemnictvi ruského Středověku.* Praha, 1989.

A. MIRONOWICZ. Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI i XVII wieku. Białystok, 1991. 303 S, mapa.

А. Миронович. Подляшские православные центры и организации в XVI и XVII веках

В наши дни заметно возрос интерес к истории белорусских этнических земель, находящихся в составе Польши. В последние годы появились различные статьи и книги публицистического плана, посвященные этим вопросам. Издается специальная библиография по истории православных приходов на Белостотчине, составленная священником Григорием Сосной [1]. Начинают выходить и первые научные публикации обобщающего характера.

Монография молодого белорусского историка, доктора А. Мироновича, изданная под грифом Белостокско-Гданьской православной архиепископии и филиала Варшавского университета в Белостоке, где работает автор, является первым интегральным трудом по истории православия на Подляшье, прежде всего во второй половине XVI и XVII в. Трудно переоценить то значение, которое имеет эта книга для историка славянских культур и всех, кто интересуется историческими судьбами белорусского и украинского народов.

Автором собран и проанализирован обширный материал, позволивший ему сделать ряд важных выводов, касающихся сложного и противоречивого процесса постепенной колонизации Подляшья, одним из средств которой была принята на церковном соборе 1596 г. Брестская церковная уния.

На примере Подляшья XVI—XVII вв. А. Мироновичу удалось проследить, как шло изменение во внутренней и внешней жизни православной церкви ее форм и характера вплоть до того момента, когда здесь осталось всего лишь несколько православных «монастырских и светских очагов» по сравнению с их значительным количеством в XVI ст.

Представляется единственно правильным и весьма важным для дальнейших исследований подход автора к рассмотрению Подляшья в «плавающих» исторических границах. Подляшье — это прежде всего историко-культурная область, границы которой de facto никогда не совпадали с границами административными. Последние же, кстати сказать, почти невозможно точно определить даже в относительно короткой исторической перспективе. И прежде, и теперь Подляшье воспринималось именно как некая географическая, а не административная область, заключенная в нечетко фиксированных границах, «определенных» целым комплексом факторов: историко-культурной ситуацией, конфессиональными процессами, этнокультурными судьбами этого края, имевшего и имеющего ныне статус особого историко-культурного пространства, называемого Подляшьем, что прочно, на века, утвердилось в народном сознании, выразилось в именовании многих населенных пунктов ряда восточных воеводств Польши Подляшскими и в наши дни.

Высоко оценивая монографию А. Мироновича в целом, нельзя согласиться с некоторыми высказанными в ней положениями. Например, о том, что переход Супрасльского монастыря в унию довольно скоро «изменил его характер» (С. 128—129). В действительности монастырь еще очень долгое время продолжал сохранять православные черты. Особенно это касалось

литургической практики: книжность, пение, иконы и т. д. Наряду с опечатками, в книге есть и досадные фактические ошибки. Например, известный историк литературы, профессор Киевской духовной академии Николай Иванович Петров везде упомянут как лицо женского пола (С. 119, 120, 295 и др.), а не менее известный белорусский исследователь, священник Федор Андреевич Жудро последовательно называется Жубро (С. 59, 61, 300 и др.). Необходимо отметить и отсутствие верификации ряда фактов, приведенных в различных документах.

Впрочем, все это не может повлиять на общую безусловно положительную оценку монографии А. Мироновича. Аналитический труд ученого нуждается в продолжении и хочется надеяться, что в скором времени мы будем знакомиться с новыми его книгами.

Лабынцев Ю. А.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ks. Grzegorz Sosna. Bibliografia parafii prawosławnych na Białostoczczyźnie. Białystok; Ryboty, 1984—1991. Т. 1—4.

Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы XVIII—XIX вв. Типология и взаимодействия. М., 1990, 286 с.

История культуры в настоящее время привлекает повышенный интерес общественности, ибо именно культура того или иного народа является его вкладом в мировую цивилизацию, а не хитроумная политика и завоевания его властителей. Народ не теряет своей сущности до тех пор, пока он сохраняет свою единственную, неповторимую культуру. Она служит наиболее удобной почвой для сближения народов, для их взаимовлияния. В рецензируемой книге, являющейся плодом международного научного сотрудничества, рассмотрены процессы, происходившие в культурах народов Восточной и Юго-Восточной Европы XVIII—XIX вв., и все еще недостаточно известные широким кругам нашей интеллигенции.

В книге помещены как теоретические, так и исследовательские статьи. Из теоретических следует отметить статью ее ответственного редактора И. И. Свириды. Не все ее положения могут быть безусловно приняты, но, несомненно, они будоражат мысль. Автор считает, что культура большинства народов региона в эпоху национального возрождения представляет собой особый тип, особую культурную формацию, которая имеет такое же право на признание, как Ренессанс, барокко или Просвещение. Отмечая сближающие национальное возрождение с этими формациями черты, автор вместе с тем подчеркивает присущие ему принципиальные особенности, препятствующие отождествлению с ними какого-либо из его этапов. К этим особенностям И. И. Свирида относит системообразующую роль национально-консолидирующей функции культуры, что определило особую трактовку проблемы личности, категорий времени и пространства, а в конечном итоге и особую картину мира, созданную в эпоху национального возрождения. Отмечая другие существенные отличия, в частности, редуцированную структуру культуры, в которой отсутствует или ослаблен «высокий» слой, а язык играет в ее иерархии центральную роль, этнодифференцирующую и консолидирующую функцию религии, неослабевающее значение этнического начала, позднюю специализацию отдельных сфер культурной деятельности, жанрово-стилевой синкретизм творчества — автор приходит к выводу об «индивидуальности» культурного процесса в рассматриваемом регионе при переходе к Новому времени, с чем можно безусловно согласиться.

По-другому подходит к типологии национального возрождения В. И. Злыднев. Принимая термин «культурно-исторический тип», автор не считает национальное возрождение особым типом, подразделяя его на два этапа — Просвещения и романтизма. Но говоря об особенностях национального возрождения, он называет и ряд признаков, характеризующих его как целое — огромная роль культуры в деле национального пробуждения народов Центральной и Юго-

Восточной Европы и, следовательно, сильное влияние на культуру национальных факторов; большое значение фольклора в ее формировании и т. д.

Более традиционна, чем И. И. Свириды, точка зрения В. И. Злыднева. Ей близка и позиция И. И. Лещиловской, которая рубежом между этапами Просвещения и романтизма у большинства народов рассматриваемого региона считает начало XIX в., что обосновывается историческими катаклизмами того времени (Великая французская революция, наполеоновские войны, Первое сербское восстание). Несомненно, все эти события оказали определенное влияние на возникновение Романтизма, но не так непосредственно, не так прямо. Воздействие многих событий даже на ход исторического развития проявляется не так стремительно. Тем более это справедливо для культуры, связи которой с исторической действительностью значительно более сложны. Во всяком случае для многих народов Центральной и Юго-Восточной Европы, например, для словенцев, хорватов, сербов, романтизм начинается только с конца 20-х — начала 30-х годов XIX в. Это не значит, конечно, что элементов романтизма не было и в более раннее время: И. Ф. Бэла в статье «Проблемы романтизма в культуре Центральной Европы» относит их к немецкой культуре XVIII в. И с этим вполне можно согласиться. Польский романтизм Бэла связывает прежде всего с творчеством А. Мицкевича и Ф. Шопена, т. е. опять-таки с 20—40-и годами XIX в. Тот же рубеж появления романтизма в Польше указывается и в статье Л. А. Софроновой «Романтизм и общественная ситуация в Польше», также связывающей польский романтизм с именами А. Мицкевича, Ю. Словацкого. Автор дает тонкий анализ связи исторических событий в Польше (борьба поляков за национальную независимость) и возникновения и расцвета романтизма. Софронова исследует и социальную базу этого культурного явления: появление в сословно замкнутом обществе последней стадии феодального строя интеллигенции, значительная часть которой вышла из средних и даже низших слоев. Ее представителям был заказан путь в более высокие общественные сферы. Именно они и являлись теми бунтарями-одиночками, которые противопоставляли себя «толпе» — обществу, которое не желало принять их в свои ряды.

А. П. Соловьева в статье «Становление реализма и процесс формирования славянских национальных культур» подчеркивает, что реализм в культуре славянских народов стал частью национально-освободительного движения, воспитывая в массах гражданское сознание.

Значительный интерес представляют статьи, посвященные культурным связям между народами Центральной и Юго-Восточной Европы, сравнению типов их культур. В статье «Мицкевич и Шопен в русской культуре XIX в.» польский ученый Б. Бялкозович подробно останавливается на русских контактах А. Мицкевича. Для деятелей русской культуры, начиная от лично знавших его А. С. Пушкина, К. Ф. Рылеева, Е. А. Баратынского, В. А. Жуковского, А. И. Герцена и других и кончая В. С. Соловьевым, С. А. Есениным, В. Я. Брюсовым, А. А. Блоком, Мицкевич воплощал в себе лучшие черты польского народа, его талантливость, благородство, силу духа, трагизм мироощущения, связанный с трагизмом его политического положения. Известный болгарский историк К. Шарова, рассматривая культуру болгарского возрождения, останавливается и на русско-болгарских культурных связях того времени. Она отмечает причины их интенсивного развития: политическую заинтересованность в них русского правительства, историческую традицию культурного общения русских и болгар как единоверных и единокровных народов. Н. Куренная и Р. Мейер (Венгрия) проследили отражение успехов русской литературы в периодической печати венгров в первой половине XIX в., а Б. Хорват-Лукач (Венгрия) остановился на понятиях романтизма в венгерской и русской литературах.

Во многих статьях освещается вопрос формирования национальной интеллигенции. Особое внимание уделяет ему в своем очерке Р. Радкова (Болгария). Она связывает появление болгарской интеллигенции как особой социальной группы с формированием нации, с зарождением и развитием буржуазии, с появлением в связи с этим потребности общества в рабочих умственного труда как организаторах и идеологах общественно-политической и культурной жизни. Близка по тематике к статье Радковой и работа Т. Беньковского (Польша) «Формирование научного сознания нового времени в Польше в эпоху Просвещения». Автор показывает качественное отличие польских образованных кругов второй половины XVIII в. от их предшественников эпохи барокко. Совершенно справедливо Беньковский отмечает, что именно культ научных знаний, распространившийся в образованном обществе Польши «прокладывал путь для новой свободомыслящей философии».

В статьях А. С. Мыльникова и А. В. Даниловой рассматривается народная культура эпохи

Просвещения. При этом Мыльников исследует роль народной культуры в межэтнических контактах во всем рассматриваемом регионе, а Данилова касается влияния народной культуры на хорватских просветителей.

Расцвет фольклора падает на эпоху, когда большинство народа не знало грамоты. Возрождение не только принесло национальную культуру народам Центральной и Юго-Восточной Европы, но и способствовало ликвидации безграмотности широких народных масс. Это привело к появлению так называемой популярной литературы, предназначенной для них. Ее развитию в Польше в первой половине XIX в. посвящена статья польской исследовательницы Я. Каменки-Страшак-Скочковской. По мнению автора, польская популярная литература появилась в связи с утверждением доминирующей роли средних слоев в польской культуре, с началом ее демократизации, и была адресована новой читающей публике, состоявшей из малообразованных людей. Эта литература была ориентирована на принцип удовольствия. Популярная литература охватывала не только печатные тексты (альманахи, ежегодники, календари, сентиментальные романы и т. д.), но и многие устные формы: баллады, песни, жития святых, проповеди.

О роли города в создании национальных культур народов Центральной и Юго-Восточной Европы пишет Л. Н. Титова, о критическом реализме в польской живописи — Е. Малиновский (Польша), об архитектуре и театре болгарского возрождения — коллеги из Болгарии М. Коева и М. Брадистилова. Л. Н. Виноградова посвятила свою статью перестройке культурных стереотипов в жизни польского крестьянина в XVIII в., О Маждракова-Чавдарова (Болгария) остановилась на культурно-языковой проблеме в легальной политической борьбе болгар. Исследование польской ученой Х. Янашек-Иванчиковой касается словацкой культуры, а именно демократической оппозиции в шутовском движении.

В целом, книга, как можно видеть из приведенного обзора, представляет интерес для всех интересующихся культурой стран рассматриваемого региона. Среди ее особенностей — разнообразие охваченной тематики, сочетание новаторских и традиционных позиций его авторов.

Чуркина И. В.



ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ И СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СЛАВЯНСКИХ И БАЛКАНСКИХ ЯЗЫКОВ

12—14 октября 1992 г. в Институте славяноведения и балканистики РАН состоялась меж-республиканская конференция «Типологическое и сопоставительное изучение славянских и балканских языков», организованная сектором структурной типологии в сотрудничестве с сектором славянского языкознания. В ее работе приняли участие сотрудники Института, специалисты из Института языкознания, Института русского языка, Санкт-Петербургского Института лингвистических исследований РАН, Московского и Санкт-Петербургского университетов. На конференции были рассмотрены актуальные проблемы теории и методологии типологического и сопоставительного изучения близкородственных славянских языков, языков балканского ареала, диалектов, а также языков, принадлежащих к другим языковым семьям; решался широкий круг проблем, связанных с предметом типологических исследований, использованием различных методов лингвистического описания, выработкой рабочей модели сопоставления, типологией грамматических и лексико-грамматических категорий, языковых систем, моделей и структур.

В докладе В. Б. Касевича (Санкт-Петербург) в широком контексте типологии культур рассматривались проблемы сходств и различий семантических систем славянских языков, фиксирующих картину мира, присущую этноязыковой общности, и языковых средств отражения данной картины мира в тексте. В рамках семантической типологии языков А. В. Бондарко (Санкт-Петербург) анализировал проблему соотношения эквивалентности смысла, лежащего в основе содержания «равнозначных» высказываний в сопоставляемых языках, и возможной неэквивалентности элементов языковой интерпретации. В докладе Т. М. Николаевой (Москва) были подняты вопросы о расширении списка диахронических универсалий, целесообразности их разделения на материальные и реляционные элементы системы, о возможности существования в истории языков тупиковых решений и феноменов, впоследствии исчезнувших из языковых систем современности. Включать в типологическую характеристику языка не просто черты, отражающие универсальные категории, но черты, доминантные для структуры данного языка, обладающие множеством импликаций обычно не на одном уровне, предложила в своем выступлении Н. Ф. Алиева (Москва). В качестве основания для построения типологической классификации славянских диалектов на фонетическом уровне Л. Э. Калынь (Москва) рекомендовала учитывать кроме единиц типа звук/фонема еще такой элемент, как звуковая последовательность, образующая фонетическое слово, а также особенность звукового строя идиома, выражающиеся в отношениях к сонорности. Направления и аспекты синхронно-сопоставительного изучения словарного состава славянских языков, принципы и методы меж-языкового сопоставления лексики, представленные в трудах словацких и чешских лингвистов, находились в центре внимания Л. Н. Смирнова (Москва). Анализ функционирования предикатов определенной семантики в языках эргативного типа (дагестанские языки) позволили А. Е. Кибрику (Москва) еще раз подчеркнуть преимущества типологического изучения близкородственных языков, дающих возможность максимально полного покрытия всех точек пространства типологических возможностей. Коллега из Польши З. Рудник-Карват предложила вниманию слушателей рабочую модель, в основе которой лежит семантико-синтаксический подход при синхронном описании словообразовательных систем славянских языков.

Ряд докладов был посвящен проблемам типологии грамматических категорий и способов их выражения в славянских, балканских языках, древнем и современном армянском.

Пути становления модальных категорий болгарского глагола (имперцептив, конклюдив, адмиратив, комментатив), несвойственных ему в исторически засвидетельствованном прошлом, в результате языковой интерференции в условиях длительных контактов народов, населявших Балканский полуостров, рассмотрела Е. И. Демина (Москва). Анализу семантики и грамматических форм выражения косвенных наклонений в русском, чешском, польском, сербско-хорватском, болгарском и македонском языках был посвящен доклад Т. Н. Молошной (Москва). Н. А. Козинцева (Санкт-Петербург) остановилась на проблеме выражения категории пересказывательности с помощью форм перфекта в древнем и современном армянском языке. Доклад М. И. Ермаковой (Москва) явился результатом сопоставительного исследования верхне-лужицкой и ниже-лужицкой грамматической категории времени с учетом польского и чешского языков, а также грамматической категории залога. Проблему видообразования в славянских языках Е. В. Петрухина (Москва) предложила рассматривать в системе семантико-словообразовательных модификаций глаголов, зависящих от формальных и семантических факторов. В докладе были рассмотрены также некоторые особенности семантического представления действия и формальные способы его передачи в сравниваемых языках.

Проблемы типологических классификаций в области морфонологии рассматривались в докладах Т. В. Поповой (Москва) и С. М. Толстой (Москва). Нетрадиционный принцип морфемной сегментации глагольных словоформ, одинаковый для всех славянских языков, основанный на принципиальной допустимости перераспределения морфемных границ и вычленения во всех без исключения глагольных словоформах структурного элемента, завершающего основу — «показателя глагольности», был предложен в докладе Т. В. Поповой. С. М. Толстая проследила, как распределяются славянские языки (старославянский, русский, польский, белорусский, украинский, сербско-хорватский, словенский, македонский, словацкий, чешский, болгарский) при образовании девербатов на *-енъе от основ i-глаголов.

Вопросы типологического анализа в области синтаксиса обсуждались в докладах В. С. Храковского (Санкт-Петербург), который разработал исключающую классификацию условных конструкций в славянских языках; А. В. Головачевой (Москва), предложившей классификацию семантико-синтаксических структур, выражающих посессивность в русском, польском, чешском и словацком языках; И. А. Васюковой (Москва), рассмотревшей предложно-именные субстантивные синтаксемы болгарского языка и их русские эквиваленты; Я. Г. Тестельца (Москва), сравнившего даргинский, древнегрузинский и цакурский языки с точки зрения расположения определений («ветвлений») — правого, левого или смешанного — относительно вершин в различных синтаксических конструкциях.

Большое внимание было уделено рассмотрению в типологическом и сопоставительном аспектах проблем семантики, лексики и словообразования славянских и балканских языков, а также английского и литовского языков. Доклад Г. П. Клепиковой был посвящен сравнительно-типологическому изучению лексико-семантических явлений диалектов карпатского ареала. Г. К. Венедиктов рассказал о семантических особенностях парных глаголов движения в славянских и литовском языках. Т. С. Тихомирова посвятила свое выступление проблеме некатегориальной эквивалентности польских и русских текстов, т. е. таким случаям, когда семантическая эквивалентность текстов в сравниваемых языках достигается за счет слов, принадлежащих разным частям речи. В докладе Т. Н. Маляр и О. Н. Селиверстовой рассматривалась семантика дистанционных предлогов и наречий в русском и английском языках. Разграничение признаков, составляющих понятие «фактивности» позволило Ф. Я. Мухамеджановой уточнить семантическое толкование английских и русских глаголов *expect*, *guess*, *ожидать*, *догадываться*. И. А. Седакова остановилась на рассмотрении номинативных процессов с использованием общеславянского термина родства *баба* на материале русского и болгарского языков. В докладе Ю. Е. Стемковской анализировались особенности адаптации иноязычных суффиксов имен существительных греко-латинского происхождения в чешском и сербско-хорватском языках, а также возможные причины расхождений в их функционировании.

Доклады и выступления участников конференции вызвали оживленные дискуссии, позволившие сопоставить точки зрения на обсуждавшиеся проблемы, уточнить и конкретизировать исходные позиции, наметить перспективы дальнейших исследований. К открытию конференции

был выпущен сборник тезисов докладов и сообщений [1], планируется также публикация материалов конференции.

Стемковская Ю. Е.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Типологическое и сопоставительное изучение славянских и балканских языков. Тезисы докладов и сообщений межреспубликанской конференции, октябрь 1992 г. М., 1992.



НОВЫЕ КНИГИ

Выходит из печати осуществленный средствами малой полиграфии Института славяноведения и балканистики РАН сборник статей «Пленники национальной идеи. Политические портреты лидеров Восточной Европы. Конец XIX — 40-е годы XX в. » Отв. редактор М. Д. Ерещенко, члены редколлегии М. Н. Бобрин, Р. П. Гришина.

Книга задумывалась, как серия научно-популярных очерков о руководящих деятелях стран и земель Центральной и Юго-Восточной Европы на переломе эпох. Задача как будто несложная, тем более что героями были избраны деятели самого высокого ранга — царственные особы, главы правительств, лидеры национально-освободительного движения. Но собранные вместе, эти очерки придали книге новое, едва ли не философское качество, заставили думать не столько об «истории в лицах» (популярный нынче жанр), сколько о «силе истории». На долю всех представленных в книге деятелей — царя Бориса III, короля Фердинанда I, короля А. Карагеоргиевича, регента М. Хорти, президента Т. Г. Масарика, маршала Ю. Пилсудского, премьер-министров Э. Венизелоса и Н. Пашича, хорватского лидера С. Радича — в той или иной мере выпало воплощать «национальный идеал», а он наполнялся на этнически чересполосном пространстве Центральной и Юго-Восточной Европы в каждом конкретном случае собственным содержанием, включая территориальные проблемы. И большинству наших героев пришлось познать не только свой звездный час, но и свою Голгофу. Да, в условиях национального подъема, борьбы за обретение и укрепление национальной государственности, когда царил радостный, романтический атмосфера, они становились национальными лидерами, людьми, которых не только особо почитали в обществе, но которые нередко вызывали экзальтированное поклонение толпы. Однако в конкретной политике им меньше всего приходилось руководствоваться романтикой: национальная идея, становясь основой национально-государственной программы, продуцировала определенные гегемонистские стремления, властно диктовала движение лозунгов типа «Великая Греция», «Великая Болгария», «Великая Румыния» и под. А на этом пути государственных лидеров ждала чаще всего жестокая драма. Трагедия большинства стран Восточной Европы в XX в., судьба Н. Пашича, царя Бориса или Э. Венизелоса, как и некоторых других, покинувших этот мир глубоко разочарованными, убеждает, что любая общественная идея, активно внедряемая лидерами в сознание общества, имеет лишь относительную ценность, а ее абсолютизация ведет к бедствиям, часто непоправимым.

В качестве авторов очерков, кроме указанных редакторов, выступают В. В. Зеленин, А. В. Городнянский, К. Н. Семенов, Е. П. Серапионова, А. С. Стыкалин, А. Л. Шемякин.

Гришина Р. П.

КНИЖНАЯ ПОЛКА СЛАВИСТА

- Архивите в България. Пътеводител. София, 1986, 362 с. Болгарская культура в веках: Тез. докл. науч. конф., Москва, 26—27 мая 1992 г. М., 1992, 128 с.
- Бояджиев Т.* Българските говори в Западна (Беломорска) и Източна (Одринска) Тракия. София, 1991, 274 с.
- Бояджиев Ц.* Човекът и природата Ренесансът на XII век. София, 1991, 208 с.
- Братя Миладинови и българската култура: Докл. от науч. сес. за братя Миладинови. Благоевград, 21—23 юни 1990 г. София, 1991, 234 с.
- Българска възрожденска литература/Летен семинар по бълг. ез. и култура за чуждестранни българи и слависти. София, 1991, 200 с.
- Василев В. А.* Правителството на БЗНС, ВМРД и българоюгославските отношения. София, 1991, 343 с.
- Василева Б.* Миграционни процеси в България: След Втората световна война. София, 1991, 251 с.
- Велц Ф.* Библиографи а Црне Горе, 1800—1912-Bibliographie von Montenegro, 1800—1912. Петине, 1991, XIX, 351 с., ил.
- Виденов М.* Годечанинът: Образци, скици, етюди. София, 1991, 207 с.
- Вътрешна и външна миграция на населението в края на 90-те години. София, 1992, 94 с.
- Дурковий—Уакшич Л.* Србија и Ватикан, 1804—1918. Кралево—Крагујевиц, 1990, 567 с.
- Етнография на Македония: Извори и материали в 2 т. София, 1992, Т. I.
- Жечев Н.* Букурещ—културно средище на Българите през възрождането. София, 1991, 350 с.
- Зашкільняк Л. О.* Польська історіографія після другої світової війни: проблема національної історії (40—60-ті роки). Київ, 1992, 85 с.
- Кабакчиев К.* Глаголно-именна съчетаемост и аспектуалност. Върху материал от съвременния български език. София, 1992, 144 с.
- Киров В.* Хронология на владетелите в южната и югозападната част на Балканския полуостров в периода 1185—1617 гт. София, 1991, 135 с., к., ил.
- Ковачева-Костадинова В.* Занаяти в Юго-Западните Български земи XV—XIX век. София, 1991, 285 с.
- Крстий В.* Историја Срба у Хрватској и Славонији. 1848—1914. Београд, 1991, 615 с., 25 л. ил.
- Макавеева Л.* Българското семейство. (Етносоциални аспекти) София, 1991, 227 с.
- Матвеев Г. Ф.* «Третий путь?»: Идеология аграризма в Чехословакии и Польше в межвоенный период. М., 1992, 240 с.
- Милановий —Јовий О., Момировий П.* Фрушкогорски манастири/Покрајински завод за заштиту споменика културе. Нови Сад, 1990, 175 с., ил.
- Миролюбов Ю.* Славяне в Карпатах. Кельн, 1986, 187 с.
- Никова Е.* Балканите и европейската общност. София, 1992, 303 с.
- Огнянов Л.* Българският земеделски народен съюз, 1899—1912. София, 1990, 281 с.
- Первая мировая война и проблемы политического переустройства в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1991, 157 с.
- Радева В.* Словообразуването в българския книжовен език. София, 1991, 226 с.
- Сава, Инок, монах. Први српски буквар Инока Саве, Венеци а 1597/Приред. Блечий М. Београд, 1991, 106 с., ил.
- Симий М.* Римокатоличка црква и Срби. Београд, 1991, 301 с.
- Современный культурный процесс в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: Указ. лит. М., 1992.
- Социал-демократи в Восточной Европе: Реф. сб. М., 1992, 309 с.
- Социокультурные процессы в странах Восточной Европы: (После второй мировой войны). М., 1992, 314 с.
- Стамболов С.* Дневник. София, 1991, 167 с.

- Степанова Е. В.* Становление хорватского реалистического романа. М., 1992, 41 с.
Типологическое и сопоставительное изучение славянских и балканских языков: Тез. докл. и сообщ. межресп. конф., окт. 1992 г. М., 1992, 55 с.
- Фашизмы срещу «фашизмы».* София, 1991, 295 с.
- Филлипов Б. А.* Политический портрет Лека Валенсы: Обзор М., 1992, 51 с.
- Филкова П.* Староболгарские традиции в истории русского литературного языка. София, 1991, 499 с.
- Флоря Б. Н.* Отношения государства и церкви у восточных и западных славян: (Эпоха средневековья). М., 1992, 158 с.
- Христова Б.* Протоэвангелието на Яков в старата българска книжнина. София, 1992, 213 с., 13 л. ил.
- Църнушанов К.* Македония в хърватско-българските взаимоотношения през вековете. София, 1991, 39 с., 2 л. ил.
- Ян Амос Коменский* и проблемы современной школы: Всерос. науч.-практ. конф. (30—31 марта 1992 г., г. Самара). Тез. докл. Самара, 1992, 172 с.

CONTENTS

ARTICLES

<i>Perovich L.</i> Socialist thought in Serbia in the second part on the XIXth century	3
<i>Pashaeva N. M.</i> Typology of the Slavic book in the time of the national renaissance	11
<i>Lipatov A. V.</i> Historical novel: common features and national specificity (Russian-Polish typological parallels in the XVIII — meddle of the XIX century)	19
<i>Zlydnev V. I.</i> At the beginning of the Bulgarian theatre	34
<i>Tolstaya S. M.</i> Ethnolinguistics in Lublin	47
<i>Shindin S. G.</i> Towards the possible survival of the reflexes of the archaic ritual in Russian charms	60
<i>Krys'ko V. B.</i> Category of animation in the dialect of ancient Novgorod	69

COMMUNICATIONS

<i>Hayasaka Makoto.</i> Russian-Jacobins and M. P. Dragomanov — discussion about the ways of solving the national problem	80
<i>Kishkin L. S.</i> Russians in Karlsbad	86
<i>Klepikova G. P.</i> To the study of lexics of the Bulgarian damaskins	102

REVIEW ARTICLES AND REVIEWS

<i>Anikin A. E.</i> Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Т. 7.	109
<i>Moldovan A. M.</i> Sermons and Rhetoric of Kievan Rus'	113
<i>Labuntsev J. A. A.</i> Mironowicz. Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI i XVII wieku	117
<i>Churkina I. V.</i> Culture of the Central and South-East European peoples, XVIII—XIX ce. Typology and interaction	118

SCIENTIFIC LIFE

<i>Stemkovskaya J. E.</i> Tipological and contrastive study of Slavic and Balkan languages	121
--	-----

NEW BOOKS

<i>Grishina R. P.</i> Prisoners of the national idea. Political portraits of East European leaders. End of the XIXth — 40-ies of the XXth c.	124
The new books	125

Технический редактор *В. М. Пахомова*

Сдано в набор 11.02.93	Подписано к печати 19.03.92	Формат бумаги 70×100 ¹ / ₁₆
Офсетная печать	Усл. печ. 10,4 л.	Усл. кр.-отт. 12,4 Уч.-изд. л. 12,6 Бум. л. 4,0
Тираж 1165 экз. Зак. 3945 Цена 8 р. 60 к.		

Адрес редакции: 117334, Москва, Ленинский проспект, д. 32а

Телефоны 938-01-20, 938-08-12

Московская типография № 2 ВО «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6.

**Институт славяноведения
и балканистики РАН
предлагает читателям**

ВЛАСТЬ И ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ. Сб. статей. Отв. редактор д. ф. н., проф. Ю. С. Новопашин. М., 1992. 11 печ. л. Цена 25 руб.

Книга содержит очерки социокультурного развития стран ЦЮВЕ после второй мировой войны, анализ взаимоотношений творческой интеллигенции и коммунистических режимов.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СЛОВАЦКОМУ ЯЗЫКУ. Сб. статей. Составитель и отв. редактор д. ф. н. Л. Н. Смирнов. М., 1992. 254 с. Цена 40 руб.

Первый в отечественной славистике сборник статей, посвященный словацкому языку. Исследуются актуальные теоретические проблемы лексикологии, словообразования и грамматики. Ряд статей имеет сопоставительный характер.

Книги можно получить: 117334, Москва, Ленинский пр-т, 32-а, корп. В. ИСБ РАН, комн. 910.